

ОСТРОВ

Литературно-художественный альманах

№3

ИЗВЕСТИЯ

СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ
СССР

№100 (874)
ЧЕТВЕРГ
10
Июль
1945 г.
Цена 20 коп.

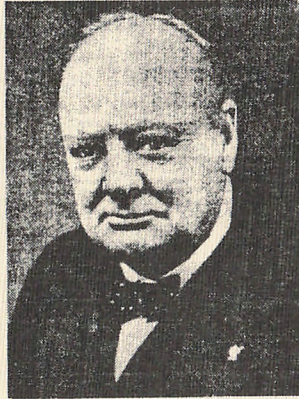
что наступил исторический день окончания разгрома Германии, день великой победы народа над германским империализмом.

И. СТАЛ



Президент

И. СТАЛИН



Премьер-Министр Великобритании У. Черчилль



Генерал Советского Союза Штета Яковлев Г. 1939



Орден И. В. Сталина

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего
По войскам Красной Армии
и Военно-Морскому Флоту

Советских...
Территория...
Зона...
Смелость...
Великие...
Сталин...
Уже не...
Победа...
и другие...
от капиту...
Армии...
Теперь...
Земля...
Оккупаци...
независ...
ским имп...
Бельгии

им, Бело...
себя. Он...
чтобы...
удачно...
жить...
на...
во...
и...
ни...

В ознаменование великой победы
9 мая, в День
нашей Победы

Больше социализма,
товарищ !



1985-1995
К десятилетию прихода
к власти М.С.Горбачева

ОСТРОВ 3

**Независимый
публицистический
и литературно-
художественный
альманах**

Выходит с июня 1994 года



Содержание

Вячеслав Сысоев. Это наша Родина...	2
Гарри Осипов. Воля покойного. <i>Повесть.</i>	6
Александр Лайко. Московские жанры. <i>Стихи.</i>	34
Василий Аксёнов. Новая проза.	46
Д.А.Пригов. Тема Штирлица в балете П.И.Чайковского...	78
Сун Комарова. Рождественский сюрприз... <i>Одесская повесть.</i>	84
Марина Георгадзе. Стихотворения.	132
Евгений Попов. Товарищ Ранцев. <i>Рассказ.</i>	140
Людмила Улицкая. Бедная счастливая Колыванова. <i>Рассказ.</i>	152
Вернисаж «Острова»: Вадим Сидур.	172
Вячеслав Пьецух. О течении языка. <i>Эссе.</i>	182
Интервью «Острова»: Озорные мысли Вячеслава Пьецуха.	192
Анатолий Приставкин. Россия в камуфляже.	196
Радиовещание на русском языке в центральной Европе.	212

Вячеслав Сысоев

Это наша Родина...

Что это за страна, где уже много лет господствует одна,
бычья, мода — стриженный затылок над крутой шеей,
где вечерний костюм должен быть обязательно цвета хаки,
а галстук-бабочка подбирается строго под цвет бронежилетки?
Это наша Родина, господа.

Что это за страна, где девочки, распустившиеся бутоны жизни, мечтают
стать валютными шлюхами, а мальчики — податься в киллеры?
Это наша Родина, дорогие дети.

Что это за страна, где в ресторане пир жизни новых русских проходит
под дулом Калашникова в руках вышибалы
в камуфляже и в полумаске?
Это наша Родина, новые господа.

Что это за страна, где вчерашние коммунисты поделились на две
группы, одна из которых (пессимисты) сожгла публично
партбилеты, а другая (оптимисты) закопала их в землю до лучших
времен, причем обе группы отреклись от преступлений, совершенных
их партией, уверяя, что ничего такого не было
и что они думают только о народе, ни о чем и ни о ком больше,
и продолжают так же, как много лет назад,
врать, грабить и подличать?
Это наша страна, господа, это наша страна.

Что это за страна, где народ выбрал себе в президенты вчерашнего коммуниста, который в своем городе уничтожил дом, где его предшественники убили царя и его семью, а сегодня он, первый президент, стоит со свечкой в руке в церкви, вспомнив, что его, кажется, крестили в детстве?
Это наша Родина, православные.

Что это за страна, где коммунисты-перевертыши из окружения Главного Перестройщика России, благополучно пережившие его падение и получившие покровительство Первого Всенародноизбранного Президента, ограбили стариков, которые всю жизнь покорно пахали на них, откладывая крохи для похорон?
Это наша Родина, старики.

Что это за страна, в которой генералы и начальники сначала продали свое оружие одной самоотделившейся кавказской республике, а потом объявили ей войну, на которую послали необученных солдат?
Это наша Родина, господа генералы.

Что это за страна, в которой уже невозможно отделить чиновников от мафиози, причем, на любом уровне — от таможенника до мэра, от мента до министра?
Это наша Родина, земляки.

Что это за страна, где многие бывшие рабы с удовольствием надраивают до блеска свой рабский ошейник и гордятся тем, что их порядковый номер — «счастливый», как на трамвайном билете, уверяя, что они жили раньше вполне свободно и счастливо?
Это наша Родина, свободные сограждане.

Что это за страна, где можно зарубить священника топором и не понести за это никакого наказания?
Это наша Родина, миряне.

Что это за страна, где журналиста, пытавшегося выяснить, как генералы воруют, разрывает в клочья взрывом?
Это наша Родина, господа диверсанты.

Что это за страна, где популярнейшего тележурналиста можно спокойно, после его передачи, грохнуть в собственном подъезде, сделав всего два выстрела — в грудь, и второй, контрольный, за левое ухо?
Это наша Родина, дорогие телезрители.

Что это за страна, где «силовые структуры» пронизали все общество, где сохранен институт КГБ-ФСБ, стукачей и «добровольных помощников», но где, тем не менее, число преступлений все растет и растет, где только организованных бандитов — сто тысяч, и где не раскрыто ни одно громкое преступление?
Это наша Родина, господа министры.

Что это за страна, граждане которой в большинстве своем смирились с убогостью жизни, а другие пытаются всеми способами «свалить за бугор»?
Это наша Родина, честные сограждане.

Что это за страна, где на погосте устроена дискотека, где тысячи непохороненных на войне взывают к небу, а начальство строит себе виллы?
Это наша Родина, храбрые солдаты.

Что это за страна, в которой десятки тысяч ее жителей стали в мирное время беженцами, которые селятся в районе Чернобыля и до которых нет дела почти никому?
Это наша Родина, соотечественники.

Что это за страна, в которой такие понятия как «права человека», «совесть», «честь» вызывают презрительный хохот начальников, а демократами называли себя воры, партийные каталы и мафиози?
Это наша Родина, господа демократы.

Что это за страна, где сначала незаконно сослали, а потом вернули из ссылки и довели до инфаркта академика Сахарова, где Сергея Ковалева, одного из немногих порядочных в окружении президента людей, называют сегодня «врагом народа»?
Это наша Родина, господа плюралисты.

Что это за страна, где смрад из фабричных труб застилает небо, где неудавшаяся «большая химия» сменилась малой химией всенародного самогоноварения?
Это наша Родина, трезвые сограждане.

Что это за страна, в которой стоит чудо-собор Покрова-на-Нерли, глядя на который перехватывает дыхание, хотя крыша наша, кажется, давно съехала или продана за кордон?
Это наша Родина.

Что это за страна, от которой, казалось, совсем отвернулся Бог,
но жизнь в которой все-таки теплится,
несмотря на сиюминутное безумие?
Это наша Родина, люди.

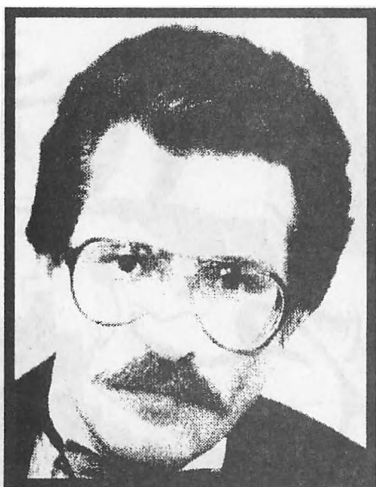
И нам никуда от этого не деться, хотим мы этого или нет.



А.Мень 09.09.1990



Д.Холодов 17.10.1994



В.Листьев 01.03.1995



Кто следующий?



ГАРРИ ОСИПОВ

Я работаю в «Стереорае». Это магазин, где продаются компакт-диски. Где он находится, я не хочу говорить, потому что не забочусь о его процветании. Название «Стереорай» придумал я сам и был премирован за это десятью долларами. Я купил на них кеды, чтобы бегать по утрам в Дубовой роще, и скоро этим кедам настанет конец, а десять долларов мне уже никто не даст, даже если я напишу поэму «Мисс Бабий яр» или, учитывая рост популярности правых, брошюру под названием «Гитлер-воспитатель», они просто меня не заметят, как не замечали долгие годы психоделического многообразия Запада хронические неудачники, полуслепые и полуглухие — на Западе они никто, а здесь господа первого сорта... Национал-патриоты тоже иногда посещают «Стереорай». между молебнами и манифестами, хапают, в основном, «классичку в обработочке», предпочитая расплачиваться за музыку повышенной красоты зелеными бумажками с девизом «На бога уповаем». Что ж, кому тошно, а попу в мощна — гласит пословица. Появляется здесь время от времени и анемичный метис, подслеповатый, со слабыми льняными волосами; старухи с пионерскими галстуками на шеях и развратные олигофрены пионерского возраста, хотя и морщатся, но всасывают его беспомощное музицирование, как «музыку революции». Сердитый и напыщенный очкарик хотя и ходит, как и я, в засранных кедах, но набирает при этом западного выкидного ширпотреба долларов этак на шестьсот и убегает, шурша мокрым крысиным хвостом, «осваивать материал», в надежде превозмочь свое бесплодие, свою ущербность... Тратить такие суммы на отбросы того, чье «овер-продакшн» отталкивает ну самых темных, когда твои соотечественники издыхают, шарят по помойкам... Что с крысы возьмешь? Крыса хочет быть любимой. Слабоумными, но — обожаемой.

Я работаю в «Стереорае», потому что «хорошие господа» первыми, как это всегда бывает, перешли на «компакты» незадолго до распада СССР. Империя распалась, как опостылевшая рок-группа, где все члены наркомы, стареющие пидоры, высохшие пижоны, расколослась на черепки, как глиняная задница девушки с веслом. А потом уже, следуя примеру «хороших господ», — ибо элита попросту обязана давать трудящимся классам примеры хорошего

вкуса, если это подлинная элита, а не мещане во дворянстве, — «перешла на компакт» и публика помизерабельней. В точности, как это было с видео перед смертью Брежнева. Тогда говорили примерно так: «А чем сейчас ворочает доктор Шульга?». «Он перешел на видео» — следовал ответ. Вот солидол — думали менее удачливые граждане о таком человеке.

Да, примерно так все и было. Так называемая «Гитлер-Велле», охватившая Западную Европу в семидесятые годы и закончившаяся скандалом с дневниками фюрера, оказавшимися подделкой, теперь докатилась и до наших холерных пляжей, и грозит накрыть собою предшествующую ей волну надоевшей теософии и прочей оккультной дребедени. «Хорст Вессель» у нас поют сегодня, так же старательно выговаривая слова, как при Леньке пели «Отель Калифорнию», кстати, тексты обеих песен не содержат ничего особенного, равно как и уцененный роман «Отель Калифорния» — сочинение какой-то Медведевой. Саня Нападающий читал, но не затащился. Стоит дешево, дешевле разве только «Завещание» Имама Х. и еще дешевле отдельные тома В.Белова. Дюжины башлачевых, моррисонов, цоев и прочих гениальных синяков — чего они стоят?

Все в моей жизни навернулось. И я каждый день, кроме воскресения, являюсь сюда к десяти, встаю за прилавок и глазею на корешки «си-ди» и думаю, отчего, если диски сделались вчетверо меньше своего прежнего формата, не уменьшились также в размерах их покупатели. Вот этот с огромной шишкой на роже, хоть бы вуаль надел, что ли — стоит и жмакает «компакт» группы, чье название мне и говорить не хочется, такое оно остофигелое. Под вытье ее косоглазого лидера прошли скучные семидесятые, нисколько не оживленные взаимным истреблением одних жестоких скотов другими в Афганистане, а клавишник с отвислым носом и плохими зубами похож на вдову Дмитриевича. И вот петрушка этот лапает, лапает и, похоже, сейчас заплатит за них долларов восемнадцать, но не мне. Мне из этой суммы дадут на проезд, на сигареты (правда, я не курю), предложат в субботу виски, но я бросил пить с тех пор, как получил по заду пьяный у фонтана на бульваре Шевченко, вымазал кровью макинтош полковника НКВД Войтовича, проданный мне его сыном Сережей... И вообще мне просто надоело зассыкаться с другими

беспонтовыми неудачниками, а потом бродить по улицам, кишачим хищной беспощадной сволочью, точно средневековые прокаженные. Надоело, как надоедает быть хиппи, панком, верующим, антисемитом, писать стихи, и человек перестает им *быть*, если только он какую-то мутацией что ли уже не связан с одним из этих видов. Азиатом, пидорастом или негром труднее перестать быть — во мне все это присутствует понемногу: кровожадность и мстительность, нарциссизм и исступленная эротомания, обалденный голос и умение ритмично двигаться (я похож на Марвина Гэя — это обстоятельство дружно отметили в компании «перешедших на видео» аферистов году в 82-ом. Марвин Гэй мне нравится до сих пор, я иногда пою некоторые его вещи, когда никого со мною нет рядом. Со мною уже месяц, как никого нет рядом, пора уже запеть "Ай нидэд э шэлтэр ин сомванз армз"), и покамест Лу не бросила меня, мы трахались с ней и слушали «Distant Lover» на ее мещанском, большом, как жопа, кассетнике и обалдевали друг от друга, и мне совсем не хотелось ничего другого и никого другого... Но Лу умотала от меня, и все в моей жизни навернулось, как и у многих в этой стране.

— Мама, неужели ты не видишь, как он похож на Клинта Иствуда, — прыщавый утопленник сообщает восторженно громким шепотом своей мамаше с фисташковым цветом лица. Это тоже обо мне. Да, это точняк обо мне, больше не о ком, остальные приказчики сидят, точно обезьяны в клетке за прозрачными прутьями и думают каждый свое. Иногда какой-нибудь шалун проводит по прутьям куском арматуры: Д-р-р-р-р... И павианов охватывает беспокойство, справиться с которым уж не в силах их истерзанные нервы, начинается жуткий переполох. Кто они, мои коллеги по обезьяньему вольеру? В основном это самцы и немолодые; многодетный фотограф, бывший цензор газеты «Правда» (так по крайней мере о нем говорят), бывший хиппи №1. Этот последний по имени Святослав до такой степени видоизменился, что того и гляди высунет раздвоенный язык да и юркнет между коробок, давно пора его от нас удалить, в террариуме его место.

Время от времени «Стереорай» посещают и солидолы — культатташе германского консульства заходил, два часа полоскал мозги классикой, и бывший цензор, красный, как рак, от возбуждения,

громко квакал о чем-то с ним по-немецки. Потом еще побывал здесь и венгерский дипломат, внучатый племянник Хаваши, главного раввина Будапешта в 30-е годы. Дипломат покупал Луи Прима. Это такой подозрительный креол — Луи Прима. Как и подобает лакею, я напел его превосходительству, мастурбируя невидимые прутья моей клетки: Бона сэра, синьорина, Бона сэра... И был поощрен улыбкою из фильмов Хичкока. Под буги и фокстроты Луи Примы немало мальчиков послевоенного поколения выпивали, мечтали, любили, наживали себе цирроз печени, хернию, язву, мозговой разжижь. Жаждали узнать, как пахнет там у Джейн Мэнсфилд (те, кто знал, кто такая Д.Мэнсфилд). Кто-то из них безропотно позволил запечатать себя в полиэтилен и опустить в наполненную водой могилу, как в теплую ванну, где можно было дробить, воображая Джейн Мэнсфилд, но кто-то таки да — сделался президентом могущественного банка или вот — дипломатом, но так и не узнал, как пахнет там у Джейн Мэнсфилд.

Хотя — не знаю, мне тоже нравится Прима и вся хорошая музыка тех лет. Когда-то я придумал афоризм: Элвис-то хорош, вот только слушают его почти что одни кретины. И это неаппетитная, но правда. В Штатах он нравится одним бабам, в Европе — одним инвалидам, а здесь... В какой стране я, в рот меня поцеловать, обитаю?

Все в моей жизни навернулось окончательно не тогда, когда, как все еще любят вспоминать отдельные умственные лежебоки, «развалили Союз», мне-то неизбежность этой постыдной кончины была ясна еще в то время, когда агитфильмы про службу в десантных войсках стали сопровождать музыкой «Пинк Флойд» — музыкой презирающих нас врагов, а было такое еще при Брежневе, нет — это случилось, когда Лу собрала всю косметику и пропала на много-много дней. Потом она вернулась и уверяла меня, что была в горах. Но с гор не спускаются с такими ухоженными ножками... Если ей, моей любимой Лу, вдруг вздумалось привести их в порядок, значит кто-то их целует, значит кто-то от нее без ума!

Кислые слюны заполняют мой рот, и я чувствую, как начинает вибрировать веко моего левого глаза. Со стороны я должен походить на чудовище в заключительной сцене «Франкенштейна»,

когда сельские жлобы подожгли мельницу, куда я от них забрался. Во взгляде моих глаз перемешались нечеловеческая злоба, страх и... недоумение. Откуда им стало известно, что я боюсь высоты и огня, откуда?

О как я был прав, когда ничего не желал делать, никому не желал нравиться и половину года проводил на пляже, а в пору рабского труда и бессмысленного мельтешения людишек спал, как благополучный вампир в своей крипте. Но вот однажды, укладываясь во гроб, я обнаружил, что кто-то успел нагадить в заполнявшую его содовую землю. Зловоние показалось мне столь отвратительным, что я ушел прочь из своего замка «на черной горе», как из навечно оскверненного места. И с того момента я существую в области бесконечных сумерек, где на всем живом и мертвом лежит какая-то мертвенно-прохладная, повергающая в оцепенение тень... В данную минуту все пляжи, губы, соски, лепестки и водопады того, теперь иного для меня мира заслоняет ядовитый, прямо-таки нарывно-малиновый пиджак бесшумно подошедшего к прилавку азиата, обладателя поросшей курчавым черным волосом головы с бараными глазами и тяжелой желто-говеенного цвета цепи, спускающейся до самого его овечьего брюха. Блеск богомерзкого металла так гадок, что, кажется, это сочится обратно наружу впитанный им свет безблагодатного, фальшивого светила сего мира.

Я видел закат этого солнца мертвых по телевизору. Солнце садилось над Невой, телевизор показывал скверно, и краски были какие-то предсмертные, изображение казалось израненным. На двухпалубный прогулочный пароходик, почему-то мне хочется назвать его «Вапоретто», поднимались по трапу питерские «геи». На борту убогого суденышка предполагалось совершить прогулку по Неве и отметить отмену статьи, преследующей за однополую любовь. Повторяю, изображение было какое-то исковерканное, и мне казалось, что эти самого обыкновенного вида люди поднимаются по лестнице в душегубку, что их умертвят на борту этого коварно безобидного «Вапоретто», а потом кремируют в топках и развеют пепел над этой вечно холодной, непонятной и ненавистой мне рекой. А косоротый и косноязычный комментатор «шестисот секунд» деланно брезгливой скороговоркой предлагал всем «голубым»

покончить с собой. Позднее косоротый обгадится во время «октябрьских событий» и пропадет, как и множество его предшественников...

Но это израненное, инфицированное солнце, ощупывающее своими лучами *изделия из золота*, гребаное солнце ползучих гадов и точка!!!

Эпоха панибратства и терпимости на самом деле кончилась давно — позавчера, когда после трех рюмок каждый признавал за своим ближним право на оргазм, и все давали друг другу куда угодно, куда попросят, только бы кончать, кончать среди куриных пупков, увядших букетов, сдвинутых набекрень париков на потных лысых головах, скользких, ленински-сексуальных, радиоглушение — вот подо что никто уже не трахает. И эти просроченные японские календари с гладкими загорелыми телками, неизменно застывшим взором наблюдавшими твои ноги, охватившие любовника, скрещенные на поясице — александрийская эпоха осталась позади — позавчера. Вчерашний день — когда упрямство и недоверие окончательно извратили наши желания — всем захотелось оказаться вдруг не выгребанными, а обгребанными, то есть маяться в бесконечной аноргазмной полудреме, помутненными глазами дебила провожая скользящих мимо насекомых-кочевников, новых оккупантов, на этот раз всамделишных, не целлулоидных фрицев из кино. И, наконец, сегодняшний день — это время гниения заживо, когда отмирание старого (старое — это мы, все мы) делается повседневной реальностью, и мы уже ничего не боимся, не все умираем, но все изменяемся и никого не отпугиваем своим видом, скорее приглашаем на пир — пир победителей-стервятников. Любителей падали в желудке и на палке. Ибо мы — полудохлые сперматозоиды — томимся здесь еще с прежнего фака, и сейчас нас будут кушать сперматозоиды-киллеры нового нашествия. Мы начинаем вонять...

— Скажите, пожалуйста, есть у вас Жанна Бичевская? — кажется, в этом месте поток моих мыслей прервал вопрос, заданный женским голосом. Ее черный жакет был надет поверх черной же футболки. Она была высокого роста, русые волосы зачесаны назад. Я существовал для нее, как фэн для сушики рук в туалете. Она была

моих лет, у нее были деньги и желание их истратить. Моих средств хватило бы на пакет томатного сока, четыре сосиски, два банана, батон, кофе и зубочистку (бесплатно, я ею уже месяц мою уши, наматывая волокна хлопка) и бесплатный проезд в лифте с надписью *Judenkaput*.

— Напротив, — сказал ей я.

— Што — «напротив»? — переспросила она сквозь китайские очки.

— Напротив есть, — пояснил я и пригласил ее жестом к противоположному прилавку, таким жестом певица Бичевская показывала на Ельцина, когда пела на демократических баррикадах в 91-ом году: «С нашим атаманом (жест) не приходится тужить». И точно так же — оттопырив большой палец, парни на рисунках Финского Тома дают понять, что хотят, чтоб их полюбили.

Она отошла туда, куда ей показали. Теперь я видел ее в полный рост, мокасин на ее левой ноге треснул по шву в том месте, где выпирала «косточка». Не все умрем, но все (жест большим пальцем) изменимся. Итак, мы начинаем вонять. Мы воняем поголовно, но к счастью, возможно кого-то это и утешит, мы воняем по-разному. Некоторые воняют сильнее других. Некоторые мертвее всех мертвых. Вот для примера Немец. Или Кефир...

Не успел я отделаться от фанатки советской разновидности Джоан Бааз, как от стены с плакатом Махмуда Эсамбаева отделилась еще одна девушка в тяжелых ботинках укладчика асфальта. Это было светловолосое, большеглазое существо невыразительного вида, немного похожее на мальчика, на рыжую Риту Павоне. Наверняка младший сотрудник какой-нибудь мутной фирмы, чьи препараты сделают вас сильным и стройным, что-то сектантское есть в этих новых акакий-акакиевичах. И в самом деле — в ее детских глазах светилась беззаветная преданность боссу, корпорации, новому мировому порядку, всему, что легко заменили бы комсомольские иконы, родись она хотя бы в один год со мною. Девушка кормовой породы людей. Но я представил вдруг ее, ласкающую своей лапкой член у шефа в «оффисе» — что-то в этом было неотразимое. В ее невинности бесполой. Беленькую дамскую сумочку девушка сжимала двумя руками, точно это была не сумочка, а аптечка.

— Это у вас — начала она с усмешкой, слегка склонив набок головку, — там кто... Элвис Пресли?

— Где? — спросил я неожиданно громко, так будто на мне были надеты наушники.

— Там, в коробке, — она показала пальцем с коротким ноготком поверх моей головы на изображение Элвиса, развратно грызущего микрофон, и вытянула при этом шею, повязанную старомодной косынкой, на шее у нее я отметил две почти симметричные шишечки, похожие на электроды у Франкенштейна.

— Это... Председатель Мао, — неудачно сострил я (ведь девушка явно не могла помнить, кто это такой Мао), только потому что вспомнил, как один знакомый художник нарисовал Элвиса в стиле плакатов культурной революции, в «сталинке», на трибуне... Насколько я знаю, единственный случай в Элвисиане. Он мне его как бы подарил, но я из боязни, что картину изорвет ребенок моей хозяйки, не взял ее тотчас же... Потом художник свалил на Запад.

— Да ладно вам... — хихикнула Рита, — Это Элвис Пресли. А у вас есть рок-опера «Кошки»?

— Там есть. — ответил я.

— Где там?

— Напротив. За вашей спиной.

Она уже повернулась в нужном направлении, когда я добавил ей во след:

— На расстоянии лягушачьего прыжка.

— Да ладно вам... — она снова тряхнула головой и усмехнулась. По-моему, такая усмешка по-английски называется «чакл» или «гигл» — удачно передает фонетически... Нет, такое сложное предложение мне не закончить. Наверное, босс ошизевает от этой ее манеры усмехаться, глядя в глаза, и девочка, судя по всему, об этом очень хорошо знает.

Итак, мы остановились на тех двоих, кого зовут Немец или Кефир. Возможно, кто-то и удивится, что это — клички или фамилии? Я предпочел бы не уточнять, поскольку оба мальчика на сегодняшний день живы, или по крайней мере делают вид, что живы, и Кефир и Немец. Толя Немец и Вова Кефир.

Вова Кефир принадлежит к поколению послевоенных невежд,

полуслепых, полуглухих идиотов, узнававших об окружающем мире из передач «Голоса Америки» и «радио Свобода», такой, в некотором роде, «радионяни» для детей изрядного возраста. Постоянное прослушивание джазовых программ Вилиса Коновера и молитвенное созерцание образов сильно загримированного Элвиса сделало из ребят вроде Кефира умственных лентяев, мечтателей-онанистов, уверенных в неуклонном изменении мира к лучшему, путем внедрения новых технологий, улучшения качества звукозаписи и прочих младенческих наивностей. Вот была пленка «Тип-6» — толстая, а потом появился «Тип-10» — более тонкая, больше информации вмещает — рассуждал Вова, усматривая в этом неопровержимые признаки прогресса. Однако в их музыкальных вкусах господствовал тупой культ «старого доброго рок-н-ролла» — музыки «белого отребья» Америки и предсказуемых остофиздевших соло на саксофоне и трубе бесчисленных потомков дяди Тома. Это вообще любопытное наблюдение — если нациям западной Европы грозит вытеснение неграми физическое, то белым в бывшем Союзе угрожает вытеснение остатков разума (на физическое засилие негров не хватит по причине величины) подмена негроидным мышлением в их головах — вытеснение психическое. Пионерами грядущей расы дегенератов у нас оказались носители инородного мышления вроде Вовы Кефира — джазмены и рок-н-ролльщики. Пока что негры у нас в подавляющем меньшинстве, как и крайне правые экстремисты, но и христиане были сперва ничтожной сектой, состоявшей из отбросов тогдашнего общества...

— Потом у нас и без негров есть кому вытеснять, — подумал я, наблюдая, как к прилавку снова приближается уже знакомый мне курчавый азиатского вида друг в пылающе-малиновом пиджаке, чего он здесь крутится?

Ничего не мешало Кефиру и его товарищам при советской власти чувствовать себя избранными, аристократами духа. Даже иллюзия преследований существовала, что весьма льстило их самолюбию. Можно было часами разглядывать обложки дисков, любуясь сохранностью уголков и торца, с упрямством идиота заставлять себя прослушивать, как бесцветный поборник трезвости Пат Бун в тысячный раз перепевает песню из голливудского

боевика, и убеждать себя, что она тебе безумно нравится, что это и есть — счастье. И запретное, и безопасное одновременно. И вдруг обнаружилось, что все то, чему они поклонялись, не что иное, как презренный, ничего не стоящий ширпотреб, валяющийся в сохранности на помойках не знавшего особых потрясений Запада, и поэтому никому не нужный. А все их сусальные рассказы про «стиляг», диски на «костях» и Била Хейли вызывают только холодное отвращение, какое чувствуешь к инвалиду, листающему порнографию, и никого не колышит их ненависть к пришедшим позднее Битлз и Стоунз, они-то ко времени начала битломании успели уже поспиваться, облысеть, впасть в депрессию, короче, тем или иным образом почувствовать свое бесповоротное ничтожество. Но все-таки, покуда еще существовала упорядоченная советская система, они могли позволить себе повыдрочиваться, например, провести вечер, расставляя колонки, улучшая «разброс каналов», листая каталоги «Хай-фай». И вот Мишка-сатана лишил их иллюзий. Можно все. Кто слушал Майлса Дэвиса, только чтобы не тянуло трахаться по-черному, понял, что так и подойдет, проведя жизнь целкой по-неволе. Продается «Майн кампф» — никому на хрен не нужен... Советские музыкантишки корешатся с западными — и выясняется, что и те и другие одинаково низкосрущие, убогие и несвободные... Армянин-сексолог рекламирует такой «майн-кампф», что вы сгниете, если прочитаете!

С ужасом думаю о судьбе, которая бы постигла их, если бы хрущевская оттепель не была прервана. В этом случае жесточайший personality crisis обрушился бы на их телячьи головы лет на 20 раньше, то есть где-то в начале семидесятых годов. Будучи в ту пору людьми гораздо более нежного, уязвимого возраста, они могли бы и не вынести крушения иллюзий.

Парадоксальным образом система в лице реакции в очередной раз спасла или по меньшей мере отсрочила гибель своих наиболее бесполезных, если не вредных, противников. Им бы благодарить следовало и партию и КГБ за цензуру и железный занавес, а не призывать Запад отомстить за их же собственную ущербность.

Ведь капитулируй Советы где-то сразу после пражской весны, не было бы ни Солженицина, ни Б.Г. ни Бродского, ни даже Виктюка,

то есть они, конечно, существовали бы, но не в таком полубожественном качестве, а как существуют их товарищи по оружию в «мире чистогана». Представляю какого-нибудь обожевленного барда поющим в переходе. «Благородная душа», — восхищались бы им другие клошары-босяки, — «Никогда не мочится в сточные решетки, всегда отойдет в сторону, на край котлована, как Гамлет».

Азиат со своими громкими шмотками, золотыми цепочками, словно глисты, вылезшими из его волосатого дупла, с его, я уже начал ощущать, каким-то материнским парфюмом, ну да, от него пахло богатой усатой вдовой, начинал меня бесить. непохожий ни на «женихов Элвиса», вроде Кефира, ни на хамоватых и чванных любителей шашлычного джаз-рока, он, тем не менее, ковырял пальцем в компактах, просунув язык за нижнюю губу...

Толя немец с Вовой Кефиром не знаком, но меж ними много общего, включая украинское происхождение. Так же, как Кефир не терпит Битлз и Стоунз, немец тупо отвергает все, что существовало до эпохи биг-бита и, особенно, негров, которых предпочитает называть по-английски «блэки». Его жена, у которой не хватает мизинца на одной ноге, читала ему статейки из «Кобета жиче» вслух, новости вроде — «Джон Леннон начал лысеть», они вместе листали «Ньюзвик» и видели там рекламу «тампакс», как видят полную луну оборотни, обливаясь потом и ожидая, когда же... Впрочем, от тоски и скуки наша парочка готова была превратиться в кого угодно, хотя бы и в ликантропов, только бы перестать быть самими трахнутыми собой; но глядя на рекламу «тампакс» не становятся вервольфами. Так прошло сколько-то лет, мадам немец довольствовалась обыкновенной ватой, дешевой и надежной. А когда «тампекс» оказался доступен, как «Правда», мадам поняла, что он ей скоро не понадобится, что ей осталось недолго, и она бросила Немца с его живописью, дросселем для размагничивания пленки, пластмассой и подпиской «Нашего современника», в котором он пытался найти утешение и опору в полуосвященных развалинах того, чему рано или поздно суждено было развалиться, как осыпается ледяная корка с морозильника, когда оттаивает холодильник. И сейчас Томми наверняка где-то скребет ковер задранной вверх бесполой ножкой и приглядывает

себе какого-нибудь дяденьку или юнца, какая разница. Истинно говорю вам, покуда не вырежут всех до единого славян, ни покоя, ни порядка в Европе не будет!

Наверное, кавказская обезьяна еще и вооружена — вибратором или репликой парабеллума, выполненной из замороженного говна. Это чей-то телохранитель, — дошло, наконец, до меня, и скорее всего поблизости шастает его патрон, и скоро он появится в «Стереорае». Понятно. Были маленькие сволочные людишки с маленьким барахлишком, их не надо было охранять, хотя они и бздели за свою шкуру и за свое имущество, потом появились большие богатые сволочи, но бздят они за свое имущество и жирную жопу в точности, как маленькие сволочные людишки.

Как же я ненавижу всякие безделушки, помойный антиквариат, модерн, сецессион, баухауз — такой же для своего времени ширпотреб, как сегодняшние кока-кола и похожая на бультерьера Мадонна. И почти все и повсюду об этом знают, в этом разбираются. Что за плебейские желания — собрать, сберечь, изучить! Но зато только мне и отдельным посвященным мною глубинным личностям ведомы строки Азизяна:

Я увидел — здесь херня

Долбанул ногой коня

Эти исполненные демонической решимости слова произносит у Азизяна В.И. Ленин, рассказывая о своей встрече с жандармами, крайне нежелательной для него в ночь накануне октябрьского восстания. В них — железная воля героя, искоренившего в себе все «человеческое, слишком человеческое» ради достижения великой цели. «Долбанул ногой коня!» Ненависть к детям и животным, этим двум фетишам обреченной буржуазии, в равной мере не свойственна ни средневековой элите в лице тамплиеров и барона де Рэ, ни тайным сектам Галиции, рискуя жизнью сохранившим наводящие ужас на обывателя ритуалы местной аристократии. Но мне — одинокой подопытной обезьяне из «Стереорая» до них далеко. И все мое обостренное чувство собственного ничтожества навалилось, облепило меня, словно проклятая шкура кентавра, надетая Гераклом, лишь из-за того, что пульсирующая норка Лу сейчас показана кому-то другому, сжимающему ее ножки в белых носочках и

облизывающемуся... Кому? Кому? Gotta move... Рогоносец, пытающийся определить размеры достоинства своего соперника, похож на слепого, пытающегося угадать величину наваленной им кучи. Гадящему слепому подобен обманутый мужчина.

В кратком ослеплении амока я резко погрузил пальцы в картонную коробку с дисками, такими привычными на ощупь, лапаными-перелапаными, забыв про азиата-телохранителя. Тот отшатнулся, принял боксерскую стойку и глухо спросил: «Ти что ищешь?» Он произнес эти слова в точности с таким же акцентом, как у Петра Лещенко в его песенке «Кавказ». Это на самом деле самая лучшая его песня, и поэтому она до сих пор как бы под запретом. Чтобы лица кавказской национальности не обижались...

— Ти што там ищешь, э? — повторил халатник-бодигард после того как я, не ответив ему, только смерил его фигуру неприязненным взглядом и нахмурил свои и без того сросшиеся брови. А что если Лу трахается с таким вот — тупым, корыстолюбивым...

— Далиду, — промолвил я, стараясь быть спокойным, как Джеймс Браун на допросе в НКВД.

— Далиду, — повторил я совсем уже четко и спокойно, делая вид, что не почувствовал, как мои пальцы защемило между «компашек», потому что азиат их внезапно сдвинул. Восточное коварство. Если я сейчас вскочу ему на загривок, он доставит меня прямо к шатру Хекматиара...

— А что он поет — этот твой Далиду? — как ни в чем не бывало поинтересовался горец.

— «Крестного отца», — также равнодушно ответил я.

— А, — сказал горец и в очередной раз отошел прочь. Видимо, он в самом деле дожидался своих хозяев, у которых, как и у всякого, кто может позволить себе содержать охрану, были шансы «с жизнью расстаться».

В пустой и тихий, как всегда по вторникам, «Стереорай» влетела стайка мокроволосых сосунков. На улице снова начинался дождик. Как-то незаметно просто середина сентября превратилась в осень, и еще одно лето осталось позади. В лесу, где я бегаю по утрам, падают листья. На сосунках висело множество значков с серпом и молотом, с Лениным — такие мы с Тодыкой Игорем, будучи

в возрасте этих юнцов, подкладывали на трамвайные рельсы, чтобы потом смотреть, на что похоже получилось расплющенное лицо вождя. Советская символика соседствовала на их худой одежке, прикрывающей недоразвитые туловища, с булавками и вшивенькими нашивками с примелькавшимися именами профессиональных «панков». В их компании отсутствовали плутовато-мученические лица восточного типа, это были незначительные, доверчивые, беспонтовые физиономии русских подростков... Что я там говорил про решение славянского вопроса?

— Здесь все западное у них! — громко и задиристо произнес низкорослый вождь, мальчик с пегими крашеными волосами и усиками под Петровича и тут же справился у меня, словно он был командир революционного патруля:

— А где у вас наши русские группы?

— Там, — я указал рукою направо, в дальний угол нашего стеклянного зверинца, где, уткнувшись эспаньолкой в живот, дремал бывший цензор газеты «Криворожская правда» Коваленко. Вот так — родители воруют, а деточки тратят родительские тити-мити на бесстыжих крикливых тварей вроде Диаманды Галас... Да посадите вы своих родителей в холодильник и через 10 минут они вам оттуда запоят не хуже этой облезлой Диаманды... Но юнцам была нужна не Диаманда, они нашли то, что хотели и с такой удручающе фальшивой и глупой восторженностью, как дикари или слабоумные, вертели в руках коробочку с надписью «Егор и Ошизевшие». Дьявольски смело. Его сатанинское величество заказывает Ошизевших.

Один из таких «панков по жизни», причастных к оппозиционному истеблишменту, тоже появляется в «Стереорае» между манифестациями, где хитрые нарциссы, помешанные на революционном омоложении, задрочивают безмозглые массы; появляется в зловонных кедах, но со свитой, и оставляет в карманах хозяина долларов порой до пятисот. А ведь на такие деньги спокойно можно было бы вооружить сотню орлят, которые бы не балаболили, а творили бы возмездие богатым гадам! Я бы и сам давно эмигрировал в единственную достойную белого человека эмиграцию — в казармы. Как уходили в вермахт разочарованные консервативные революционеры — Юнгер, Готфрид Бенн, когда

увидели, что плутократия в очередной раз обманула своих противников. Русские консерваторы то и дело пытаются «склеить» какую-нибудь звезду и перетащить в свой лагерь, чтобы оттуда призывать «встать с колен» остатки светлокожей черни, давно уже опустившейся с колен на четвереньки. Нагло льстя и оберегая взаимное невежество, им удается поддерживать полу-эрекцию убогого чучела «русского рока», навешивая на него то кольчугу, то фальшивые «георгии», а то и неправильно поняту свастику.

Термин «ритм-энд-блюз» был введен в обращение Джерри Векслером, и несколькими годами позднее Алан Фрид первым начал называть новую музыку словом рок-н-ролл. О каком еще «русском роке» вы там говорите, скоты с человеческими лицами?

Малолетки, конечно, не стали покупать «Ошизевших» и убралась так же поспешно и шумно, как и появились, чтобы через час показаться в другом месте, а с наступлением темноты они обернутся мерзкими тинэйдж-вервольфами и кого-нибудь зверски изобьют, мстя за свою ущербность. Носятся по своей резервации и воображают себя «ангелами ада», «оседлавшими бурю», «рожденными то-то и то-то»... Нет, это уже нисколько не смешно, ничего нет смешного в этом, но и не страшно уже.

Извращенная подвижность — это вообще характернейшая черта нашего времени. Непрерывное передвижение суетливых людишек сделалось чем-то обыденным, вроде неподвижности надгробий на кладбище, но перемещаться они могут, если им дозволено, строго в пространстве, не вырываясь ни на волос из пределов гравитационной резервации. Они носятся, как водомерки по поверхности морей и океанов, образуют скопления, словно тля, сигают из Алжира в Данию, шныряют по Европе, кочевники-извращенцы. А те из них, кто заживо погребен в нищете, парализован экономически, те путешествуют при помощи видео, расширяют сферу познаваемого, штудируя каталоги пластинок, модной одежды, следя за хит-парадами и результатами матчей, будучи в состоянии позволить себе только одноразовую сорочку и туфельки для усопших, они смотрят на мир из гробов, как неумирающие кадавры...

Если бы не мое жгучее желание мгновенного крушения всего окружающего, способного преобразить мерзость запустения в арену

упоительных катастроф, я бы, наверное, стал выражать недовольство, когда в те же двери, сквозь которые только что удалились на обед мои коллеги, не считая дремлющего на своем стуле бывшего цензора, азиат-телохранитель и еще какой-то колченогий мужчина в болотном жакете с манжетами деловито и молча внесли к нам в помещение магазина «Стереорай» два огромных, в человеческий рост, похоронных венка и установили их по углам. Я вышел из-за прилавка и посмотрел на улицу. Обе урны — одна возле входа, другая у остановки 28-го автобуса, были кем-то подожжены, они пылали, испуская при этом обильный дым. Азиат и хромоножка, установив венки, теперь также молча раскрывали двери центрального входа, было видно, что они готовились к появлению каких-то важных гостей. Сквозняк, возникший благодаря распахнутым дверям, донес до моих ноздрей довольно приятный аромат дыма. Похоже, в урны, прежде, чем их подпалить, плеснули дорогих духов, и приличную порцию! Вдруг непонятно откуда взялась молодая женщина в черной блузке, она несла в руке черную масленку, вернее лейку, и кого-то мне очень напоминала. Водой из лейки она погасила пылающий в урнах мусор, и я вспомнил, на кого она похожа — на Линду Мак Картни во-первых, а во-вторых, на жену Коршуна, старшего брата Азизяна, дамскую парикмахершу. Следом за нею крыльцо магазина и прилегающую к нему остановку стали заполнять наряженные во все траурное персонажи, появились даже факельщики! И, наконец, четверо дядек, похожих на испанских танцоров, поднесли гроб, и гроб, это мне было отчетливо видно, несмотря на дым факелов и благовоний, не был пуст.

Немного погодя от собрания скорбящих, непонятно как и зачем оказавшихся в конце сентября возле магазина «Стереорай», отделилась статная фигура мужчины в солнцезащитных очках, несмотря на облачное небо над его остриженной под умеренного панка головой необычной формы. Короткие рукава его темно-темно синей рубашки позволяли видеть загорелые сильные руки, в нагрудном кармане, заполняя его как-то сексуально туго, виднелся портсигар. Он переступил порог и, несмотря на мрачную сцену за его спиной, растянул свои тонкие губы пластикового утенка и улыбнулся. Улыбка была адресована мне. Он, прочитавший за свою

жизнь только три книги, я знал какие — «Остров сокровищ», «ЦРУ против СССР» и «Молль Флендерс», был похож на военного журналиста, на писателя-авантюриста. Но это был не писатель, это был Азизян.

Разумеется он изменился за те 7-8 лет, что мы не виделись, кожа стала грубее и темнее, туловище сделалось более плотным, волосы, прежде неровно падавшие на его патологический лоб, как у Бориса Карлова в роли Монстра, были теперь тщательно подстрижены. Ощупывая его лицо глазами, я, наконец, обнаружил то, что ожидал найти — шрам на левой щеке в виде рунического знака «одил», след от железного крюка, на котором ему довелось повисеть некоторое время после падения с крыши (на свое счастье маленький Азизян был гораздо щедедушнее Азизяна зрелого, и мясо его щеки выдержало вес его тельца). Шрам был на месте, но заметить его с первого раза было практически невозможно, отчасти из-за темно-кирпичного цвета кожи и отчасти из-за мимической складки, скрадывающий след от прокола. В кинофильме Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии» у всех мужских персонажей на шее имеется схожая дырочка, но обнаружить ее можно, лишь только просматривая эту картину пятый или шестой раз, никак не раньше.

Азизян приблизился еще на несколько шагов, и я почувствовал, как и от него исходит запах тех же духов, отзывающихся шиньонами, сумочками и шляпками тетенек моего отрочества.

— А-а, — произнес Азизян свои два междометия, обозначающие на его языке приветственный смешок, но без согласных звуков. Я тотчас же вспомнил, как одно время он говорил исключительно не «гребать», а «грéбать» — звуки напоминали голос некоего земноводного мутанта, плюс эти вечные солнцепоглощающие очки зеленого чудовища, впитывающего и умервщляющего солнечный свет, когда он произносил это свое «факать».

— Зачем она тебе (Донна Самер), — спрашивал у Азизяна Нападающий.

— Гребать, — коротко отвечал Азизян. Сомневаюсь, чтобы он кого-либо «гребал» на самом деле. Кстати, до невероятного похожие на Азизяново «гребать» звуки издает труба в одной из послевоенных пьес Дюка Эллингтона (Hiya, Sue)

Азизян стоял спиной к толпе, и поэтому только я мог видеть его кощунственно улыбающийся ротик и слышать непристойные звуки, им издаваемые.

— Привет, Шура, — сказал я, глядя на Азизяна так, как будто он поднялся со дна морского с анчоусом во рту, но голос мой прозвучал равнодушно. Такие случаи происходят, пускай нет рационального объяснения, я имею в виду, подумаешь о ком-нибудь и он — этот кто-нибудь — уже тут как тут, является и варит воду. Азизяна видеть я был несказанно рад. Увидеть Азизяна после созерцания тошнотворных куриных тушек из золота на шеях убийц, женских задниц прыщавых ростовщиков, торговцев мерзкими наркотиками, спиногрызов убогих иностранок, было для меня большой радостью в этот такой обыкновенный день — день моей дробленной на множество дней жизни, оцененный работодателем в двенадцать американских долларов.

Когда-то давно, году в 78-м, когда мы видели доллары только в кино, и возбуждали они нас не больше, чем собачьи соски, мы поднимались с Азиком по лестнице, ведущей в актовый зал школы N15, где репетировал со своим ансамблем Саша Навоз. Мы шли неспеша и плевали на картинки из жизни Ленина. Плевали старательно, я бы сказал ритуально. Как следовало бы плевать сегодняшним тинэйджерам на иконные изображения тонкогубого очкарика Леннона, сердитого хомяка Высоцкого, жирного борова Элвиса, тусклого рахита Сида Вишиса и прочих священных коров, убивающих революционный дух, мешающих новой воле трупиков. Отхаркивая на последний портрет Ильича обильную порцию слювы, Азизян, громко и смачно припечатал: «Обвафлился!»

Эхо азизянского голоса не успело смолкнуть в лестничном пролете, как, откуда ни возьмись, нам навстречу шагнул директор школы по кличке Скорпион, большеголовый боров в кофейной тройке, с рябоватым лицом. Я тогда подумал, что в какой-то степени у нас будут неприятности, ведь наши слюни текли по стеклам картинок, как струйки дождя по оконному стеклу, за которым капитан Сережа Мельничук занимался любовью с Сашей Минько. Саша сам рассказывал, что в тот момент шел дождь, и на стадионе никого не было. Да! Но «дерик», видимо, настолько обалдел от

дикости им увиденного, что просто отказался поверить своим глазам и прохилиял мимо нас с Азизяном вниз, не сказав ни слова.

И это только одна история из длинного и скабрёзного ряда наших с Азизяном кощунств, глумлений, надругательств и диверсий. Его двуличная гомофобия в сочетании с порочностью и похотливостью (когда Азик возникал в окне своей детской спальни с немецким полевым биноклем в одной руке и с дымящимся «предметом» в другой, в доме через дорогу начинали гаснуть окна! Он причинял обывателям столько же неудобств, сколько в военное время стальные птицы толстого Германа), вкупе с моим восточным садизмом делали нас образцовыми вольными партизанами Люцифера в сонной, свернутой желеобразными, издающими вонь кольцами действительности, в мире добрых людей.

Действительность подражает искусству — сначала придумывают греки Илиаду, а потом обнаруживается Троя, Эдгар По в своем стихотворении Улалюм говорит о горе Вайаанек, что стоит в том месте, куда дует северный ветер Борей, и этою горою оказывается вулкан Эребус в Антарктике. Так и в случае с Азизяном — это не фамилия, а совершенно иррационально придуманная мною кличка. Он не армянин. Но как только мы начали называть Азизяна Азизяном, сразу же в его облике появилось что-то армянское, от эдакого революционера-террориста времен легендарного Камо. Дядюшка Стоунз по своему обыкновению отреагировал на новое прозвище Азизяна стихами, которые напевал на мелодию одной из песен группы «Слейд», начинавшей тогда уже выходить из моды, кажется, эта песня называлась «Я не так наивен». Вот что пел дядюшка Стоунз:

Это Азизяка а-а-ха-а

Партии (!) шизняка а-а-ха-а...

Через некоторое время сама подлинная, обычная украинская фамилия Азизяна была напрочь забыта. Слово «Азизян» замелькало в доносах и попало в архивы КГБ, увлеченно занятого расшифровкой аббревиатур Эй Си-Ди Си и вполне постной группы Кисс (Азизян любил «тяжелая»). А стюардесса Таня Самофалл, показывая мне датский порнобуклет с мухами, говорила, что его подарил ей «этот мальчик-армянин с косым глазом, ну Саша... Азизов». Однако уже

при Горбатом мы стали называть Азизяна иначе — Яшико, по имени одного албанского композитора.

Самым удивительным последствием переименования «Саши с косым глазом» в Азизяна стала метаморфоза, постигшая его дядю, жителя весьма удаленного от воспетой Мандельштамом страны, пограничного городка в Карпатах. Этот импозантный мужчина в кожаной куртке и с подкрашенными в черный цвет волосами, уложенными в кок, прослышав, на какое слово отзывается его племянник, принял правила игры и включился в мистификацию с такой страстью, что за весьма короткий срок обармянился совершенно. Отчасти этому безрассудному для человека его лет увлечению способствовало присущее ему в избытке чувство юмора, а отчасти — потребность непрерывной деятельности, спасавшая многих советских бунтарей против системы от смертельной пустоты и скуки одиночества. «Дядька», — как называл его Азик, был и радиохулиганом, и контрабандистом, и мотогонщиком, и даже изобретателем! Теперь этот некогда неукротимый человек лежал под дождем в гробу, беспомощный и беззащитный, поредевшие седые волосы — все, что осталось от «кока» бывшего «тедди-боя», — плачевно налипли на мокрый лоб, но и таким я узнал его, мы общались в былые годы. Но, гадал я, просто ли сумасбродством его, чего уж греха таить, не совсем нормальных родичей обязан он своим появлением у «Стереорая» *post mortem* или же здесь какая-то иная причина? Я надеялся, что племянник мне все расскажет. Азизян достал сигарету и щелкнув портсигаром, пригладил волосы, потом прикурил и дважды глубоко затянувшись, заговорил:

— Такова воля усопшего, папа. Ни фига, как говорится, не попишешь. Как ты уже, наверное, изволил догадаться, мертвый господин в гробу — мой дядя Вячеслав. А эти двое, — он едва кивнул подбородком в сторону своих *Leibwache* — Хирам и Спорус, родственники жены брата. Поминки будем справлять в столовой «Алые паруса»...

— А почему не в «офицерской», она же ближе, — чуть не спросил я, но за какую-то долю секунды вспомнил, что оба эти заведения уже много лет, как снесены, и на месте «Алых парусов» теперь городской террариум, а «офицерскую» отдали правозащит-

ному центру, поэтому я только спросил сочувственно:

— А что с дядькой могло случиться, Шура? Он же еще молодой был?

— С дядькой случилась фигня, — со значением вымолвил Азизян и пояснил, — повесился.

— Да, — произнес я задумчиво. — Но от чего? Ведь он же был остроумный чувак, со своеобразным чувством юмора. (Я помню, как «дядька» веселил мою подругу Нэнси, изображая пакистанского офицера: «Меня зовут полковник Тофик-Бей. Я преподаю топографию в Военной Академии Карачи. Вот мой курвиметр», — говорил «дядька», гримасничая, и доставал из пиджака сигару) Или ему, как и всем нормальным людям, все на этом свете опротивело?

— Именно! Именно так, папа. Ошизело все человеку и балда-нога.

Азизян опустил окурок в протянутую мной банку из-под пива «гиннес». Банку оставил один супергитарист-рогоносец, заходивший сюда со своей усатой козливой поздравить хозяина с днем рождения.

Да, Азизян, да... Я твоего дядьку очень хорошо понимаю. Он не боялся никого и ничего, но не мог ходить по улицам и ездить в транспорте без тошноты и содрогания, вот он и решился на штурм неба, подтер жопу визой в рай, совершил самый благородный теракт — погубил самого себя. Скинчив життя самогубством.

— Да, папа, все так, все именно так.

Азизян сунул себе в рот еще одну сигарету. Видимо, он собирался мне что-то сообщить важное и неправдоподобное, из того, что можно доверить только мне.

— Но тут вот еще какая проблема...

— Что эти уроды отказывают в погребении самоубийце? — попробовал я угадать.

— Та не — если б только это! Понимаешь, папа, когда все это случилось, мамаша поехала туда в Вазарию быстро забрать шмотки, ну там, ты знаешь, обнаружила предсмертную записку дядьки. Ты не представляешь, что он в ней требует. Он хочет, чтобы его похоронили со включенным плеером и наушниками на ушах, прикинь! Ты помнишь, как он любил хвастаться: «Мы, когда студентами были, без молодого Холидея бухать не садились!» — Как всегда в случае с

Азизяном было непонятно, восторгается он дядькиными капризами или гневается, отчаявшись постичь глубинный смысл подобных пожеланий.

— Воля покойного, папа, закон. Святая вещь... — пробормотал он едва слышно и тут же воскликнул, разрубив воздух характерным жестом:

— А где я ему, курва, сейчас возьму раннего Холидея с твистами?

— У нас есть ранний Джонни Холидей. — сказал я, мне почему-то казалось, что Азизяну это было известно заранее. То ли это солнышко проглянуло сквозь прореху в облаках, то ли его так заgrimировали, но мне почудилось, что лицо мертвеца в гробу осветилось легкой улыбкой. Солнце и в самом деле появилось, и на короткий срок у скорбящих образовались слабые тени, что несколько уменьшило их призрачность.

— Ты гонишь, папа! — воскликнул Азизян. — Покажи!

Голос Азизяна разбудил моего напарника, бывшего цензора, и он, встав со стула, удалился в подсобное помещение, сжимая в руке сверток с бутербродами. Таким образом, я остался один на один с Азизяном. И его мутными телохранителями. Я не знал, каким видом оружия они предпочитают пользоваться, но в их людоедских щупальцах любое было бы причиной унижительной и грязной смерти. В школьные годы, бывая у меня в гостях, Азик умудрялся слямзить из-под стекла, по провинциальной моде предохранявшего письменный стол от порчи, цветные фотки Линси де Поль и Гарри Глиттера. Причем на стекле стояли ламповый трофейный «телефункен» и магнитофон. Гарри Глиттера мои рогатые земляки не любили. Пóстер, подаренный мне Нэнси, ее покойная бабушка выбросила на помойку, а я и подарил его, потому что моя мамаша его уже сорвала один раз и помяла. Но это старики, а вот противная усатая лабушня предпочитала сексуальному Гарри своих невыносимых «Чикаго» с их по-гусиному хрюкающими дудками. Однако Азизян являлся клиентом, причем клиентом почтенным, судя по сопровождающей его свите, и у меня не оставалось другого выхода, кроме как согнуться старательно и показать клиенту си-ди Джонни Холидея «Идолъ дэ Жен». Почему армяне 60-х годов так тащатся на французах? И я наклонился,

взявшись для равновесия за перекладину прилавка, которая в эту минуту вибрировала так, будто под магазином проходила линия метро. Но о нем в нашем построенном на песках городе и не слыхивали. Возможно, под «Стереораем» находится еще и «стереоад», не знаю.

— Папа? — скрипучим голосом спросил Азиян.

— Шо? — ответил я про себя.

— А он не болгарский? — Азиян произнес мягкое «г» особенно сочно.

Я повторил то, что сказал перед этим.

— Понятно. — скупое кивнул Азиян. — Родной...

Взяв у меня сборник «Идоля», Азиян довольно долго, по старой привычке, оглашал названия песен, безбожно коверкая французские слова. Тонкие губы, под темными очками, извергающие уродливые звукосочетания, вроде «Ильфо соси са шансе» (тут Азик осклабился, потому что «Шанс» была фамилия одной из его жертв, которую он довел поклепами про слабый мочевого пузырь до настоящего «нервус брэйкдаун».) Кстати, вот еще один пример того, как натура подражает искусству. На мысль о том, что «Шанс» мочится в кровать, Азияна навела гениальная песня Игоря Эренбурга «Пустите, Рая», в ней есть слова: «Пустите, Рая, ну дайте снять кальсоны, мне вредно у себя держать мочу». Азияну они так полюбились, что он постоянно напевал их в полголоса, пока его косою изуверский взгляд не упал на бедного «Шанса» — жертву *par excellence*, точно это были богохульные заклинания, наличие покойника, умершего «смертью, проклятой Богом», все это делало сцену похожей на черную мессу или чем-то в том же роде. Особенно патологически выглядели родственники; замершие, точно оперный хор, они следили за движениями утинового ротика Азияна, зачитывавшего список, через стекло.

Покончив с зачитанием, Азик вручил мне двадцатидолларовую бумажку, затем подал какой-то особенный знак Хираму и Спорусу, а те, в свою очередь, обратились к скорбящим и, высунув головы, что-то им прокричали на незнакомом мне языке (за последние годы мне часто доводилось слышать слова, непохожие ни на одно из существующих наречий, тем не менее произносили их так уверенно,

словно этим словам не одна тысяча лет; возможно, это свидетельство возникновения новых рас в результате смешанных браков всякой черни и выроdkов). Далее я увидел следующее: один из плакальщиков, худощавый мужчина с напомаженными волосами, извлек из-за пазухи черную коробочку. Это плеер, подумал я и не ошибся. Как-то непостижимо ловко, как это происходит в сновидениях, когда речь идет о малознакомых спящему операциях, на голову «дядьки» надели наушники-пиявочки, а подключенный к ним сиди-плеер припрятали, накрыв черною фатой. Азизян передал пустой бокс от компакта еще одному человеку, свиного вида украинцу, и тот смотрелся в него, как в зеркальце, и был похож на увальня-сатирика, готовящегося читать свое сочинение. Потом жена Коршуна отобрала у него упаковочку и передала ее самому Коршуну, которого я и не узнал, так он оплешивел. Коршун хладнокровно положил ее в карман пиджака. Наконец, все живые участники похорон как-то опять же незаметно построились по ускользнувшей от моего внимания команде и тронулись в путь вдоль обочины проезжей части. Да — забыл еще одну деталь — когда плеер был уже включен (видимо, он работал от каких-то специальных долговременных элементов и был запрограммирован на многократное проигрывание, или наоборот, все это было чистой водой надувательство и аппарат совсем не работал), Азизян, приложив одну мембрану к своему дивной формы уху, некоторое время слушал, все ли в порядке, он даже покачал немного рукой и вильнул бедром в такт, в очередной раз продемонстрировав оскал гадкого утенка. Первая песня в этой компиляции, предназначенной озвучивать загробную жизнь дядьки-самоубийцы, называлась, если не ошибаюсь «Qui, J'ai». Азизян должен был ее помнить. Он даже пел ее по-русски. Слова, конечно же, придумал дядюшка Стоунз: «Шурыгин вывалил держак...»

Слова о Шурыгине (обладавшего выдающихся размеров членом, спекулянте марками) хорошо ложились на мелодию этого рок-н-ролла. Хотя любой рок-н-ролл по-русски звучит вшиво и сразу становится видно, насколько ничтожная гнида его поет, если вытье и твяканье всех этих заячьих губ, косых ртов, козлиных кадыков можно вообще назвать пением. Незаметно пробежал рабочий день. Завтра

поналезут сюда снова задроченные жизнью ошурки, ищущие в музончике утешения импотенты, выписавшиеся дурдомщики, вся та голота, что обслуживает своим потением и зловонным дыханием газовую камеру планетарных размеров, где роль колючей проволоки выполняет земное тяготение. Где вас отравляют окисью углерода из выхлопных труб авто, перевозящих по их важным делам политиков, артистов, духовенство и прочую сволочь. Где на вас вьют пыль и слюной, как будто вы у штурвала обреченного на гибель в шторме корабля. Штурман в газовой камере. В Калифорнии тридцатых годов нашего века удушение приговоренного к смерти парами цианида считалось вполне гуманным видом казни.

Должно быть, Азизян и в самом деле успел стать очень важной персоной, так как никакого постороннего транспорта, кроме, опять же, какого-то необъяснимо сирийского, восточного вида иномарок траурного кортежа, на улице видно не было. Важная персона Азизян хоронит своего дядю и не хочет, чтобы ему мешали. Люди делятся для него на бедных и богатых, а не на умных и глупых, привлекательных и отталкивающих... Его время наступило. И, похоже, тошнотворно надолго. Так должен чувствовать себя человек, спивающийся или привыкающий к наркотику — теперь это надолго... Если только... Подождем, пока «Шурыгин вывалит держак», больше ожидать нечего. Надежды на «лучшее» в этом ненавистном мне мире — это привилегия Азизяна и его чешуйчатых и перепончатых собратьев. Хрена с два, конечно, Азизян споеет теперь про «Шурыгина», как делал это раньше, он теперь гражданин мира и понимает, что истинны только общечеловеческие ценности, только они пребудут вечно.

Я подождал, покуда последний лимузин проследовал мимо окон нашей лавочки, затем вышел на крыльцо. Машинально я придержал спиной дверь и оперся об ее торец, холодный металл обжег мою кожу, я потерся позвоночником об него и погладил свою остриженную наголо голову. Весьма кстати я надел сегодня черную майку с вырезом и эмблемой черного интернационала. Там, где улица переходила в шоссе, ведущее к первомайскому кладбищу, чернели спины самых тихих представителей дядькиной родни. Они находились от меня уже на расстоянии, не позволяющем

определить, чем заканчиваются их хвосты — раздвоенными шипами или ромбиком. Моя майка пахла просроченными духами Лу, она их хапала на «сэйлах» и вечно оставляла открытыми. Мои глаза начали слезиться, я почувствовал себя так, словно я утро туманного и дождливого дня и вижу все окна города, за которыми любовники трахаются, любят друг друга, и я ничего не могу этого делать и буду длиться, пока сумерки не пережуют меня, так, чтобы ночь смогла меня сожрать без остатка, чтобы потом снова изbleвать на рассвете. Мое веко снова начало дрожать, как испорченная неоновая буква. Кто их изобрел, кстати, неоновые надписи?

Дядька скоро будет засыпан могильной землей. Меня, между прочим, Игорь Ноздря приглашал работать плакальщиком, сразу, как только я выписался из психобольницы... Любопытно, есть ли на Западе похоронные бюро, изготавливающие плейеры для мертвецов? Мне ничего об этом неизвестно.

Я представил себе тесное пристанище дядьки, и как в ушах его полусгнившей головы будет играть музыка его юности («стиль йе-йе» называлась такая музыка), пока не подсядут батарейки. Впрочем, родственники покойного наверняка позаботятся и об этом. Они дадут денег Игорю-плакальщику или Яношу, зловещего вида пастуху с Колонтыровки, которого однажды пытались повесить за кражу овцы, но он сорвался и ходит с тех пор с поломанной шеей, и те будут время от времени, допустим, каждую весной, менять в плейере батарейки. Какая акустика будет в пустом черепе самоубийцы-висельника, когда истлеет все, что обычно истлевает у трупа, и останутся одни кости? Скелет, танцующий твист — какая пошлая и типичная для тех лет картина.

Холодный сентябрьский ветерок обдувал мою истершуюся в нитки джинсовую промежность...

Мимо меня уже успели прошмыгнуть высокая дама и господин. С ними сейчас разбирался стареющий цензор Коваленко, человек, слушающий всю жизнь, по собственному признанию, только двух баранов — Элвиса и Била Хейли. Он уже достиг того презренного возраста, когда одинокие, бездетные холостяки вроде него начинают купать пластинки в шампуне «кря-кря», как младенцев.

Цензор ездил им по ушам насчет достоинств старого доброго

рок-н-ролла. И упитанный господин слушал его с восторгом новообращенного. Упитанный господин являлся бывшим «металлистом». Но разбогатеv, разочаровался в «хард энд хэви». А высокая дама с греческим носом и чудесной тяжелой попкой, с волосами, убранными в пучок, и в черных брюках, не по моде заправленных в сапожки, была его женой. С недовольным видом она нетерпеливо перебирала компактв, то и дело поглядывая на своего супруга с нескрываемым презрением.

Что-то шаловливое и виноватое было в облике упитанного господина, выбирающего Литтл Ричарда. По-моему, это был ярко выраженный «мазо», и покупка старых рок-н-роллов в присутствии своей Леди Домины была частью сексуальной игры, которая закончится, как обычно, поркой скверного мальчишки, слушающего недопустимо громко музыку грязных ниггеров и поджарых голубых белых.

«Мазо» был явно богат и по-своему счастлив. «Леди Домина» была просто конец света.

Я был беден и начинал мерзнуть. Я вспомнил загорелые ноги Лу, закинутые на мои плечи, ноги в белых носках и ее губы, делавшие ее похожей на Мика Джаггера. Потом вспомнил, что расцветка верхней части носок повторяет цвета российского флага и визитные карточки всяких червивых венецианских купцов в ее карманах... В рот меня поцеловать, в какой стране я живу? Потом я вспомнил, что носки Луиз сейчас надеты на мне. Какой-то устойчивый треск раздался у меня над головой. Я посмотрел вверх — уже почти стемнело, и загорелась вывеска «Stereoheaven», а чуть выше то же самое по-русски, «Стереорай». Я работаю в «Стереорae», припомнил я и с опадающим членом направился обратно в магазин.

Александр Лайко

Стихотворения из книги
Московские жанры
(1959–1965 гг.)

Поэт Александр Лайко, подборку стихотворений которого мы предлагаем читателям, не мог напечатать в России (кроме детских стихов и переводов) ни одной своей «взрослой» строчки. Как и его старшие товарищи-«лианозовцы» поэты Генрих Сапгир и Игорь Холин, Александр Лайко пользовался «самиздатом», а с 1978 года и «тамиздатом»: журналы «22», «Время и мы» и другие издания. Лишь в 1993 году в Москве у него вышла книга стихотворений «Анапские строфы».

Стихи Александра Лайко, написанные в начале 60-х годов, печатаются по его самиздатскому сборнику «Московские жанры».

Сейчас Александр Лайко живет и работает в Берлине.

ПОРТРЕТ

Книзу острое яйцо —
 это девушки лицо.
 И гляжу я в личико,
 и очень даже верю —
 снесёт она яичко
 и воспитает
 зверя.

1960

ПАСТОРАЛЬ

Он вина достать не смог.
 Есть в сельмаге только сок.
 Сок томатный,
 сок приятный —
 будет заворот кишок.
 Он вина достать не смог.

Лягут, глядя в потолок.
 Без вина какой же прок
 улыбаться,
 обниматься
 и толкать друг друга в бок?
 Лягут, глядя в потолок.

1964

ПЬЕСА ИГРЫ

Судьба летит под крик «Ура!»
в тартара - ры
и даже - ра.

Игра,
игру,
игрой,
игры!
Смотри:
перекосились рты —
оскалы «ы».

И:
— Мясa!

Масса
охоча собственного мяса.
Насытиться.
До блевоты.
А ты?

Игры!
Летят шары,
сшибаясь костяными лбами,
и дыры в душах от жары,
от распри меж материками.
Несутся по полю шары,
сцепленьем щёлкают вагоны —
на стыках — ох! —
и стоны —
«Ах,
ты, Марусечка...» —
магнитофоны.

Транзистор где-то в животах,
 в аппендиксе скорбует Бах,
 а чрево медленно вещает
 и завтра дождик обещает.
 Совсем другое сообщает,
 танцуя, столбик мошклары:
 игры,
 игры-ы!

Экран высвечивает икры —
 ног женских плещут осетры,
 звериный вдох и слабый выкрик...
 —Вам шах —
 ж-три!
 Игры, игры-ы!
 И все —
 и сед, и млад,
 сосед — науки кандидат —
 кричат:
 —Даздрабанзавиват!

Финал иль середина пьесы —
 не все ль равно? —
 и стюардесса,
 красой блистая, словно смерть,
 идет в халатике повесить,
 немея, лифчик на забор.
 Две чаши ветерок мотает,
 петлёю — нежная тесьма...
 Как поиграли мы, Майданек?
 Как поиграли, Кольма?

И над толпой, спешащей мимо,
трепещет, рвется к небесам
и просыхает символ мира,
расколотого пополам.

1963

ПОВЕСТКА-МУХА

Повесткой мертвецов
вновь прилетает муха.
И разухабист
танец твари —
до одури
и яростно, и радостно
бьет крыльями и головой
(слепой язык —
фигуры танца),
бьет о стекло и пол, и стены,
и постепенно
понимаю:
она кружит, меня жалея.
Потом садится, лапкою крыло лилея.

Приветствую тебя,
посланец смерти!
Но я еще живой и не романтик,
и не заявлен на игру.
Ни потому ль хуру-муру
всех бедных песен,
медных маршей
мне посылает быт,

печалюсь, что невесел
его мертвец³

Пришлец
крылатый,
погляди — вон чье-то,
ликуя,
расцвело лицо,
там — радостно играет выя...
Скажи, где смертные живые
в бессмертном быте мертвцов³

1963

РОМАНС

И девушка любовь узнала.
Нельзя сказать, чтобы не знала,
зачем она к нему пошла.
Конечно, знала. Но пошла.

Потом она ждала, гадала,
во сне и наяву звала.
Но он не шел. И не гадала.
А время шло. И не звала.

Стучит ребенок слабой ножкой,
одной сначала и второй.
Сказала девушка: «Второй
стучит обманщик слабой ножкой!»

1960

ДЕРЕВО

И ствол, и ветки — мир миров,
вселенная пыльцы и плода.
Полкубометра этих дров
скрипит, как вымытая посуда,
когда аэропорты листьев
шумят и принимают лайнер.
Пророки дней — спешат министры,
апоплексичные, но быстрые,
спешат к машинам, как беременные лани.

Вот капилляры — тело ветки.
Телеэкраном светят клетки —
созвездья окон — сорок в ряд —
смеются, гаснут и горят,
и в каждом быт от А до Я —
большая
и полная энциклопедия.

Алкаш испит.
И спит.
Снится обезболивание самоубийств.
Шею танцуя в петле,
хохочет —
алле! —
вам предстоит, а я ухожу.

Мужу предписан покой,
другой, подруга, нужен,
знаешь, я как увижу — черный...

Ученый
с пьедесталом под мышкой:
— Дух, душа, душить...

Шуршит
 побежкой крысьей злоба.
 —Зло, простите, это мясное?
 —Съестное!
 И про запас полны зобы.
 Могучий быт
 от А до Я —
 большая
 и полная энциклопедия.

А девушка, открыв окно,
 глядит в окно.
 А там темно,
 там распустили гривы кони
 и лбами бьют о подоконник.
 У девушки под сердцем — плод,
 предмет её забот
 и слез.
 Коней пугает пылесос.
 Они пугаются глазами,
 потом по небу ходят сами.

И девушка, обняв живот,
 неслышно плачет и поет.
 Текст песни —
 вот:
 «Ушел и пусть.
 К себе прижмусь,
 дитё услышу —
 и светло».
 И звезды падают на крышу,
 гремят по водостоку тяжело.

ЛЮБВИ ЗАНЯТЬЯ

Любви занятия дадены.
Не крадены —
дарованы.
Во зло или добро они -
трактат
до катаракт.

А я отдам ребро,
как ты, Адам, ребро,
чтоб на краю времен —
она,
он.

Там лето и балкон,
и звон электросети.
И попадаю в сети
дороги окружной
твое лицо и зной,
и вой электровозов...
— Прочна ли ячея? —
так небо над тобой
всей синевой вопросов, -
ты чья?
Земля рванулась, беспокоясь,
по пояс в тлене и пыли,
и крикнула:
— Она всяя земли!
И прочая.
И обочины,
и колеи,

и разные гаи юлии
цезари,
церберы,
атомы,
битумы
и, если хотите, —
Батуми.

Ты — история всех времен и народов,
истерия всех знамен и плакатов.
Тела корабль твоего,
 куда он плывет, ослепительно матов?
Куда ты?
Лицом отчужденным,
покрытым загадочной мглой,
меж мной и собою
Тенью скользишь голубою.

1965

ПУСТЫРЬ

Хрустят суставами кусты
и держат на земле пустырь.
Он распластался под луной,
он эхо весь и весь немой.

Окаменелости тряпья
и ствол, и булава репья,
и одуванчик на стреле
покачивается во мгле.
В траве мерцает антрацит
печально-влажными очами.

Теней пугливо-темный быт
перемещается ночами.
Среди пустых консервных банок
полуистлевший крик афиш,
портрет тирана, груды склянок,
рисунки: дама, просто шиш...
Давно свои сыграли роли
владельцы брэнного хламья.
Их смех, убийства, слезы боли
теперь за гранью бытия.
Не потому ли тень с гитарой —
когда-то грозный судия -
с казненным неразлучной парой
дуэтом дуют: „Ине-е-е-зилья!“
Когда-то в шпильках, впопыхах —
во что одеть сегодня прах?
Еще не надо молодиться,
еще упруги ягодицы.
Где ты? Ау, кинодевица!
Серьга твоя в траве искрится...

Младенцы, тенями качаясь,
в больничное окно глядят —
мамаша плачет, облачась,
в абортный стираный халат.

Любителю поесть здесь скучно,
питаться тенью несподручно,
нет, несподбрюшно — лучше так.
Тень-отбивная, тень-судак...

Ваятель, гений академий,
свободной тенью, наконец,

прозревший в час преодолений,
что служит истине резец.

И, вздрогнув от звонка трамвая,
тот мир, который обываю,
вновь принял прежние черты
у самой города черты.
И строем бледно-голубым
идут из города дома
квадратные поставить лбы
на край времен и на туман.

Мелькает женский силуэт,
погасшее окно и свет,
уже в другом окне зажженный,
и угол шторы освещенный,
гостей хождения на балкон,
старуха, бьющая поклон
перед затепленной божницей,
и стон — из корпуса больницы.

1965



Василий Аксёнов

Новая проза

Первый отрыв Палмер

Художник Орлович сидел в своей студии, что за старой стеной Китай-города окнами на Большой театр. На дворе в декабре 1991 года подышал советский коммунизм. У Орловича, между тем, завершалось нечто лиловое с багровым подтеком, надвигалась грозовая синева со свинцовым подбрюшием, новый прибор акриловой революции. В мрачноватой студии сполохами самовыражался телевизор. Страшный, как леший, рок-звезда Кьеркегоренко вопил уже привычное: «Красная сволочь, вон из Кремля! Вон из Кремля, стонет земля!» От плиты через всю студию тянулся запах индейского петуха: подруги Орловича, Муза Борисовна и Птица-Гамаюн, готовились к приему гостей по случаю окончания лилового и начала синего. Задрожала оцинкованная дверь, в нее явно били ногой. Прежде бы подумал непременно Орлович «пришли гады», хотя никогда никаких особых поводов «гадам» приходиться не давал, за исключением знаменитого дерзновеннейшего своего прыжка в лопату бульдозера «Беларусь» осенью 1974 года. Желто-зеленый шарф его тогда развеялся над разгоняемой выставкой «модернистов», пока не был сброшен вместе со всем остальным в канаву. Ну, теперь-то, после августовских баррикад, «товарищам» не явиться, подумал Орлович, однако дверь продолжала трястись, словно и впрямь под сапогом гегемона. Орлович при помощи своих длинных рычагов вылез из продавленного дивана и приоткрыл дверь. Вместо сапога в мастерскую просунулась босая нога. Гегемон обернулся деклассированным соседом Чувакиным. «Ты чего, Модест, закрываешься? Колбасу что ли жрете?» Он прошел внутрь, распространяя противный запах винегрета, сродни блевотине. Орлович увидел себя вместе с Чувакиным в скособоченном зеркале XIX века. «Друг друга стоим», — подумал он. — «Экая гнусная неряшливость лиц, волос, гардероба. А ведь у меня есть два

хороших костюма, бритвы, одеколон, чтобы как-то отличаться от Чувакина».

«Ничего починить не надо?» — спросил сосед, заглядывая почему-то за зеркало. Всему дому было известно, что Чувакин при всей его внешности «русского умельца» никогда ничего починить не мог и не хотел, и что главным его делом было — всосаться в среду, чтобы там прохалываться, потому-то всегда и являлся с предложением чего-нибудь починить. «Вам что, Миша, нужно в данный момент?» — спросил Орлович. «Немка там какая-то пришла, Модест, ты бы помог покалякать», — сказал Чувакин. «Это что-то новое у вас, какая еще англичанка?» — удивился художник.

Миша Чувакин рассказал короткую историю. В принципе, он уже спал, поев лапши с курятиной. Как этот вот рок-фестиваль начался, так он и замкнул на массу, даже Смарагду блядскую вырубил из сознания. Скажи, Модест, что с похмелья, и как раз ошибешься! Просто устал, до утра в бригаде работал по разборке памятника Калинина Михал-Ваныча, всесоюзного старосты. Как это, к чему такие подробности, Модест? О чем людям меж собой говорить, если не о подробностях?

Налив себе небрежно из початой бутылки стаканок пшеничной и махнув его как бы между прочим, будто и не за тем пришел, Чувакин продолжал. Стук какой-то услышал он сквозь сон, какой-то ненашинский, в общем, участковый так не стучит. Смарагда блядская пошла открывать и вернулась с немкой. Такая баба молодая, далеко не развратной внешности. Хроменькая англичаночка, будто цветок, ну, немка. Дрожит и протягивает ребенка в голубых ленточках. Вот вам и диккенсовская история в китайгородской интерпретации, подумал Орлович. Близится Рождество, хроменькая немочка-голландочка с ребенком в голубых ленточках. Москва, безвластие. «Не сворачиваете ли вы, Миша, на тропу мифов?»

Чувакин вдруг ужасно обиделся. Он соседа по-дружески называет, Модест, а тот все время на официальное переводит: Миша. Хули-ш-ты, Модест, как не свой, как будто не

сосед «вы, Миша»? К тебе приходят за помощью, чтобы перевел слова матери-одиночки, а ты как с алкоголиком, на вы. Плеснув себе еще полстакана пшеничной и с той же небрежностью, как будто совсем не придавая главной влаге своей жизни никакого значения, ее употребив, декласе Чувакин протопал к двери. Какие ленточки, говоришь, какой ребенок? Смотри сам!

Орлович теперь своими глазами видел на лестничной площадке англичанку, если не немку или не шведку в черном пальто-дутике и в теплых наушниках на удлинненной голове. Руками в огромных, тоже «дутых», перчатках она прижимала к груди основательный пакет, перевязанный синим шнуром.

Это была некая Кимберли Палмер из города Страсбург, штат Вирджиния, США, просим не путать со страсбургским пирогом в центре Западной Европы. Ей было 29 лет. По каким-то непонятным причинам всякое упоминание России вызывало у нее еще в детстве спазм мышц горла и набухание слезных желез. Эта странная эмоциональная реакция привела ее на русскую программу в университете «Вандербилд», что в городе Нэшвил, Теннесси. Там она волновалась целый семестр, пока брала курсы по географии и истории России, ну, а на курсе по Достоевскому совсем потеряла покой. Дошло до того, что однажды ночью «руммэйтс», то есть сожители по студенческой квартире, сбежались в ее спальню, встревоженные рыданиями: это Палмер читала «Неточку Незванову» в переводе Эндрю Мак-Эндрю.

Быть бы ей отличной слависткой, если бы не пришлось прервать образование. Случилось так, что ее отец, мистер Палмер, очумев от бесконечной жизни в живописной долине Шэнандоа, выкинул антраша вполне в духе героев Достоевского. Не сказав ничего семейству, он перезаложил дом, забрал весь чистоган и свалил куда-то к чертям, может быть, даже в Лас-Вегас, в общем, с концами. Мать, миссис Палмер, рухнула под тяжестью ежемесячных процентов, младшие братья одичали, и Кимберли, едва ли не повторяя подвиг Сонечки Мармеладовой, запродалась в банк

«Перпечьюэл» и так засела там на годы в отделе автомобильных ссуд за цельно-стеклянным окном с витыми в старинном стиле буквами и с видом на перекресток города Страсбург: светофор, банк-конкурент «Ферст-Вирджиния», аптека Макса и магазин гончарных изделий «Хеленс Поттери».

В банке она преуспела, то есть к 27 годам стала завоём секции с окладом 32,000, что давало ей возможность даже и после выплаты процентов вести более-менее современный образ жизни. Все это время она продолжала считать себя студенткой престижного вуза, не забывала обновлять университетскую наклейку на своем «шевролете», а за мороженым у Макса нередко говорили Хелен: «У нас, в Вандербилде...» Два раза в неделю она ездила в Вудсток и там в гимнастическом зале плясала аэробические танцы. Естественно, все карманные издания русских классиков оказывались на ее полке, а ночами кочевали по ее подушкам. По утрам она пробегала три мили вокруг сонного Страсбурга, а иногда и вечером пробегала три мили, а иногда и среди ночи пробегала три мили, а иногда ей и вовсе не хотелось останавливаться, лишь бы не возвращаться в отдел автомобильных ссуд. Естественно, во время бега в ее «уокмэне» крутилась катушка с русскими фразами или с симфониями русских композиторов. «Эта Палмер вернулась из Теннесси совсем другим человеком», — говорили о ней земляки. Мужчины не решались предложить ей «дэйт» и правильно делали: никто из них не напоминал ей ни Печорина, ни Гурова. В своем литературном селибате она, между прочим, начала уже несколько подсыхать, несмотря на сильное воображение.

Лучше всех ее понимала Хелен Хоггенцоллерн, хозяйка популярной местной лавки, торговавшей своего рода гончарными достопримечательностями: горшками и вазами для ваших цветов, фигурками фламинго и сурков для ваших лужаек, ангелочками для ваших могил и вообще предметами хорошего вкуса, моя дорогая. Трехсотфунтовая Хелен в противовес тяжести своей плоти отличалась легкостью нрава,

любопытностью и даже некоторой начитанностью. Свои сверхразмерные вещи она умудрялась носить с экстравагантностью, уж не говоря о том, что на груди у нее постоянно побрякивали керамические бусы, отражающие многовековую культуру шэнандоасского племени индейцев, называвших себя «Созерцателями Луны».

Пожалуй, только с Хелен наша героиня могла поговорить о страсти, о далекой стране, которую никаким компьютером не понять, никаким калькулятором не измерить, в которую можно только верить, верить... В момент сильного спазма, волнения груди, увлажнения глазных впадин Хоггенцоллен сжимала руку Палмер и говорила ей о том, что сержант Айзек Айзексон, заместитель шерифа из Форт-Ройял, опять спрашивал о ней и вздыхал, как какой-нибудь твой, мой медок, Пушкин.

Именно в «Хеленс-Поттери» стал собираться женский клуб города Страсбург, двенадцать, или около того, не худших представительниц этого основанного еще в восемнадцатом веке поселения с общим количеством душ, превышающим тысячу. По пятницам собирались среди керамики и бархатистых цветов понтесии, выставляли кто во что горазд «браунис» или «дэниш», или домашние куккис с изюмом, или ведерочки паста-салата, а то и палочки сельдерея с морковкой в сопровождении густого, как вся местная традиция, соуса, нацеленного на погружение в него растительных предметов и приятного увлажнения процесса разжевывания. Если же разговор получался хороший, тогда, махнув на подсчет калорий, складывались по два доллара и посылали через дорогу, к Максу, за сырным тортом. А разговоры нередко получались интересными, и заводилой почти всегда оказывалась Кимберли Палмер. Тетушки вздыхали, слушая ее рассказы о страданиях России, с удовольствием повторяли за ней интересные слова: «горбачев», «крэмлин», «кэйджиби», «пэрэстройка». Особенно им нравилось слово «гласноуз», оно звучало превосходно, как прозрачная противоположность выражению «хардноуз», то есть темному догматизму и тупоносости.

Именно там, в Хеленс-Поттери, возникла идея присоединиться к мировым усилиям по оказанию гуманитарной помощи многострадальным россиянам. Давайте отправим им к Рождеству продовольственные посылки. Внесем нашу лепту. Подадим пример другим христианам, другим американцам, другим женщинам!

Начали собирать деньги, то есть, более принятым языком говоря, «поднимать фонды». Газета «Голубой хребет» сообщила о почине широкой публике. У витрины с горшками и вазами стали все чаще останавливаться машины. Кто давал доллар, а кто и два. Замшерифа Айзек Айзексон пожертвовал 30 баков, то есть сумму, достаточную для покупки шести шестибаночных упаковок пива.

Эта удивительная деятельность так увлекла Палмер, что она теперь стала выбегать из дома не иначе как с шикарной улыбкой на устах. Как вдруг произошла неприятная сенсация: вернулся «дэдди», то есть ее грешный папаша собственной персоной. Он выглядел теперь, как половина того замечательного, второго в графстве, катальщика шаров и продавца главного городского предприятия «Антик Эмпориум». Извинившись перед семейством за причиненные неприятности, этот неопределенного возраста и странной легкости человек пояснил, что целью его приезда является не возобновление совместного проживания, а восстановление прав на бесплатное, или почти бесплатное умирание в больнице штата. Спокойно, девочки и мальчики, без паники! По сути дела он уже зарегистрировался в госпитале, а в старый дом завернул лишь за своей коллекцией бейсбольных карточек, чтобы перебирать ее в процессе умирания.

Кимберли была потрясена удивительными качествами этого, почти неузнаваемого, своего «дэдди» и привязалась к нему на весь остаток его жизни, то есть на пятнадцать с чем-то дней. Папа страдал, но не переставал улыбаться в ожидании болеутоляющих. Фармакология погружала его в почти блаженное состояние. Он брал руку старшей дочери и продолжал улыбаться, то ли вспоминая что-то для себя

совсем неплохое, то ли путешествуя уже в каких-то околосемных сферах. Умер он в превосходнейшем настроении, даже вроде бы насвистывая что-то из эпохи биг-бэндов.

Потрясенная Кимберли стала теперь пробегать уже не три мили за раз, но все шесть. Волочась за ней, витала над спящим Страсбургом Пятая симфония Чайковского. Ночные небеса, казалось, отражали счастливую улыбку отчалившего отца. Айзек Айзексон нередко сопровождал ее в своем патрульном автомобиле. Сдерживая слезы, он говорил ей о групповой терапии в области преодоления сексуальной сублимации, о планомерном увеличении будущей семьи, о балансировании бюджета.

Как-то раз под утро бегунью перехватила дружеская рука Хелен Хоггенцоллен. Оказалось, что «Поттери-клуб» на последнем заседании решил выделить из своей среды представителя для сопровождения гуманитарной помощи в Москву, Этим представителем, конечно, оказалась Палмер. Можно ли после этого называть наше время воплощением меркантилизма?

В самом деле, окиньте взглядом арену мировых событий и вы найдете там все, что угодно: бандитизм, садомазохизм, романтическую жестокость, лицемерие и сострадание, огромное количество какого-то экзальтированного идиотизма, довольно веселое, хотя и вдребезги подлое мошенничество, но уж никак не проявление здравого смысла и сопряженного с ним меркантилизма. Люди какими-то миллионными кучами совершают безрассудные поступки, живут не по средствам государствами и в одиночку, они способны за три дня разрушить социализм или швырнуть на ветер три десятидолларовых бумажки. Только лишь Китай планомерно наращивает экономический потенциал без сожаления об убитых для этой цели студентах. Однако то, что касается Китая, не относится к остальному человечеству.

Итак, это была вот именно 29-летняя девушка Палмер с пакетом гуманитарной помощи, принятым деклассированным трудящимся СССР за сверток с младенцем. Таких пакетов у нее в багаже было тридцать. Не так уж много для

спасения основательного государства, но главное почин! Если от каждой тысячи западных христиан придет по тридцать пакетов, то ведь из одних США это будет семь с половиной миллионов! Надо ли говорить о том, в какой экзальтации подлетала наша русофилка к Москве.

Вожделенный город в первые же минуты знакомства поразил ее своими запахами. Обладая чуткими ноздрями человека, выросшего среди довольно негадких ароматов долины Шэнандоу, Палмер сразу же уловила основное: смесь мочи и дезинфекции. Это основное, впрочем, постоянно обогащалось в зависимости от обстоятельств элементами массируемого пота, повсеместной гнильцы, химического алкоголя, перегаром автомобилей, словом, всем букетом агонизирующего коммунизма. Она ловила себя на странном ощущении: в таком запахе, казалось ей, как-то неловко предаваться обычным человеческим делам. Надо просто стоять и ждать, когда он улетучится.

Номер для нее был зарезервирован в огромном отеле возле Кремля. По бесконечным коридорам постоянно шло множество людей. Из окна Палмер видела неширокую реку с закопченным льдом и чудовищное здание с шестью адскими трубами и могучими буквами по фасаду. Едва лишь она прочла слово «Ленин», как в номер вошли две толстых женщины и принялись пересчитывать полотенца, наволочки и пододеяльники. Забившись в угол, Палмер смотрела на вялое воплощение «русскости» в грубых и порочных чертах этих двух представительниц. «Где ваше второе полотенце? — спросили тетки, но, увидев расширенные глаза приезжей, махнули рукою: — Э, ни бельмеса не понимает!» Поглубже всмотрелись и добавили: «И денег, небось, нет у этой мымыры. На гроши катаются!»

С первым, пробным пакетом гуманитарной помощи Палмер вышагивала мимо Кремля. Здесь было гораздо лучше, запах отстал. Мороз пощипывал щеки и нос. Увидев свое отражение в витрине ГУМа, она подивилась своей красоте. Высокая американка с пакетом гуманитарной помощи. Поражала густота толпы. Люди быстро шли, не обращая

внимания на сказочную архитектуру окрестностей. На углу стояла девочка-подросток с плакатом по-английски: «we were deprived of all basic rights please help my family to survive». Палмер протянула ей 25 рублей. Девочка показала подбородком на жестяную банку и презрительно отвернулась.

За углом вдоль тротуаров тянулись бесконечные очереди. Поражало количество меховых шапок, свидетельствующее о массовом избиении маленьких животных. В будущем надо будет начать здесь борьбу против меховых шапок! Она пыталась прислушиваться к русской речи. Иногда долетало нечто, будто бы с китайского факультета, незнакомый хриплый выдох на «ху». Вообще-то люди в очередях были неразговорчивы, казалось, они уже исчерпали все темы. У одного мужчины висела на груди дощечка с валютными знаками. Она услышала слово «кауфен» и шарахнулась в сторону.

Вдруг она оказалась на крыльце, казалось, развороченном землетрясением. Из дверей со скрипом вытаскивали детскую коляску. Жилой дом. Палмер прошла внутрь. Пещера вестибюля, пропахшего кошачьей свободой. Поверх разбитого, вставшего коробом кафеля лежат доски. Будто пенсильванская шахта, зияет вход в длинный коридор. В этих трущобах, конечно, живут нуждающиеся. Вот сюда, в дверь под номером 7-а и будет доставлен первый рождественский подарок из Страсбурга.

«Не открывай, не открывай, паразит!» — завопили внутри. Дверь открылась. Палмер показалось, что она попала в знакомое по кино нью-йоркское гетто. Произошло это прежде всего от того, что декласе Чувакин от многолетнего потребления бормотухи если уж не почернел, то основательно посизовел. Женка же чувакинская, Смарагда, или как ее там, была из литовских караимов, так что вполне могла сойти за пуэрториканку.

Палмер хотела нормально по-русски поздороваться, но от волнения произнесла нечто несуразное: «Здравевичи!» Перепугавшись, стала тыкать пакет, как бы умоляя, чтобы не подозревали в дурных намерениях. Тут она заметила, что супруги босы, и ротовые полости у них не в полном порядке.

Едва не разрыдалась: «Бедные, бедные! Тэйк ит! — бормотала она. — Инджой! Мэрри Кристмас!» — «Ну, и мыбра, — зевнула Смарагда. — Во, кадр! Ребенка, бля, хочет подбросить!» — «Ни хера ты не понимаешь, Смарагда гребаная, — весь от ушей по пяток прочесался Чувакин. — Это ж шведка, они все такие страшные. Пойду к художнику ее сведу, он по-ихнему сечет, я сам слышал». «Опять напешься у художника! — завопила жена. — Домой не приходи, козел! Чтоб вас всех козлов на этом свете шахной накрыло!»

Чувакин с дипломатическим изгибом показывал путь. Лезли по лестницам. Дом когда-то был богат, подумала Палмер: кое-где еще виднелись мраморы, витой чугунок, осколки мозаики. «Мир Искусства», вспомнила она лекцию вандербилдского профессора Костановича. Залезли под самую крышу. Здесь, должно быть, гнездятся самые нуждающиеся. Этот самоотверженный босой человек подумал не о себе, а о других. Вот таковы глубины этих характеров. Из-за оцинкованной двери на верхней площадке вдруг донеслись совсем неплохие запахи. Похоже на домашнюю готовку в День Благодарения.

Когда «англичанку» провели внутрь, Муза Борисовна и Птица-Гамаюн уже начинали накрывать стол в дальнем углу пещероподобной мастерской. Как две мортиры торчали к кафедральным сводам ножки венгерской индейки. Благоухал первый противень пирога с вязигой. Над краями хрустальной чаши поднималась мягкая горка зернистой икры. Этот последний продукт был известен Палмер только по художественной литературе и в своем реальном воплощении так, кажется, и остался ею до самого конца рассказа неосознан.

Дамы с удовольствием продолжали вокруг стола свою созидательную работу. Обе они были, между прочим, большими московскими знаменитостями, останкинскими миражами, а также «лапочками» всего торгового и блатного племени. Для них не составляло никакой проблемы, «работая лицом», пройти через любую толпу в кабинет директора

гастронома и добыть любой дефицит. И вот — везет же Модесту! — обе выдающиеся знаменитости разных поколений почему-то полагали своим долгом следить за тем, чтобы дом художника был «полной чашей». И это несмотря на то, что чаша сия постоянно и похабно опустошалась богемным сбродом, собиравшимся по ночам на этом чердаке, откуда видна была кучерская голова и спина основоположника марксизма Маркса, а также, если впериться в пьяные мраки, и квадрига Большого театра.

Модест Орлович знал одно полновесное английское предложение-вопрос, «Вза ар ю фром?», то есть «Вы откуда?», и кроме того немало еще отдельных слов, в основном существительных. Этот запас помогал ему объясняться с иностранцами в стиле «беспроволочного языка», изобретенного еще итальянским футуристом Маринетти, то есть без глаголов. «Пэйнтер», обычно представлялся он, похлопывая себя ладонью по груди, «Грэйт пэйнтер. Май хаус», следовал циркулярный жест, очерчивающий мастерскую, «Гэст гуд. Фрост,а? Раша. Уинтер. Вза ар ю фром?»

Палмер, между тем, с восторгом глядя на высокого и тощего художника — ну, просто воплощение князя Мышкина! — восклицала на своем вирджинском, добавляя иногда слипшиеся, как засахаренный попкорн, русские слова. Вот что приблизительно получалось. «Я из Страсбурга, Вирджиния. У нас тоже бывает зима. Нет-нет, я не боюсь русски мэроуз. Я так счастлива, огромное спасибо! Значит вы маляр, сэр, а этот ваш друг, босой джентльмен, очевидно, водопроводчик, не так ли? Это просто чудесо! Спасибо за костеприемство!»

Орлович немедленно и бодро отвечал: «Гуд. Фуд. Водка. Бир. Фак. Тэйбл. Чэар. Глас. Плэйт. Пэйнтинг. Грэйт. Вуаля!» Чувакин даже пасть раскрыл от восхищения. При нем развивался почти понятный разговор на непонятном языке. «Про ребеночка спроси, Модест!» Орлович двумя ладонями и подбородком спросил про синий сверток. «Чайлд? Чайлд? Мазер? Фазер?»

Палмер не успела ответить. Оцинкованная дверь

распахнулась, чтобы больше уже в этот вечер не закрываться. Ввалилась толпа каких-то румяных и пьяных. Поражала взволнованная искаженность лиц и изысканность одежд. В кучу сваливались дизайнеровские пальто с пелеринами, разматывались многоцветные шарфы. Целая команда голенастых девок. Жирноватые сицилианцы. Большой русский молодец, под косматым жилетом голая грудь с крестом. Все говорили разом, никто не слушал друг друга. «Где мне положить этот пакет с гуманитарной помощью?», спросила оробевшая Палмер. Ей никто не ответил. Рапсодия поцелуев. Мужчины всасывали друг у друга часть плохо бритых щек. Женщины все прижимались к хозяину лобками, что, очевидно, заменяло у них рукопожатие. Кажется, они все уже пьяны, а на столе еще бутылок, что кегель в кегельбане. «Да вы все уже бухие, банда!» — счастливый, кричал Модест. «А ты догоняй, гениюша наш гениальный!» — русский красавец, схватив хозяина за бородку, совал ему в рот бутылку шампанского. Разлетались брызги с пеной. Одна увесистая капля попала Палмер прямо в лоб. Голова закружилась и взгляд вместе с ней описал дикую окружность по сводам огромного чердака. Только тут до Палмер дошло, что стены пылают живописью и мерцают глубинным золотом икон. Птица-Гамаюн легонько вытряхнула ее из прошитого на пуху пальтеца, обняла за талию. «Клади ребеночка вот здесь, под образами, и к столу, к столу!» Красный рот проиллюстрировал приглашение международно доходчивым «ням-ням». — «Да ты вся посинела, мамочка!» Муза Борисовна поставила перед Палмер миску горячего жира. «Разбульонься, дорогая!» Янтарное пятно холестерина покрывало поверхность. Только стакана русской водки не хватало для самоубийства, и вот он появился. «Давай на брудершафт, сельская учительница!» — проорал в ухо русский красавец Аркашка Грубианов. Он сидел на ручке ее кресла, а когда, после водки, полез по русскому обычаю целоваться, свалился мощным бедром между двумя стройными конечностями самаритянки, ненароком нажимая ладонью на ее промежность.

Она трепетала тонкими губками под мокрыми сардельками Аркашки. Он не виноват, это традиция, вот такая истинная народность, рашеннесс, а этот мужчина не виноват, не надо придирааться. Какая страсть, какая свежесть чувств, хоть от него и несет чем-то тошнотворным.

Грубианов совал ей в рот столовую ложку икры. «Да жри, жри наше достояние, последний кавиар подыхающей России! Не можешь проглотить? Ребята, она в рот берет, а проглотить не может!» Муза Борисовна мхатовским жестом пресекла грубиановское свинство. «Оставь свое свинство, друг Аркадий!» Тут кто-то над столом божественно заиграл на скрипке *Eine Kleine Nacht Musik*. Толпа европейского и русского мужичья в богатых костюмах встала за дальним концом стола, выпивая какой-то свой сепаратный тост совместного предприятия. Аркашка, уже забыв о Палмер, брал за грудь головастого критика: «Ты плохо всасываешь по русской идее! Ты Розанова еще не всосал!» Еще один какой-то головастый подлезал к Палмер с другого боку. «Же ву вудре де катать на русской тройке!» Голенастым девицам за столом не сиделось, все время подымались, как бы стараясь вылезти из крохотных платишек и тут же натягивая их обратно с несколько сокровенными улыбками. Вдруг вся компания, ртов не менее тридцати, разом запела: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке!»

Уже горели свечи. Палмер изумленно смотрела на озаренные вдохновением лица. Малейшая вздутость щек или подглазий казалось вздутой вдвойне. Всякая впалость вдвойне западала. Живая скульптура многострадального народа. Налив сама себе водки из осмерикового печатного штофа, девушка Палмер поднялась с тостом.

«Господин и господа! — сказала она, имея в виду «лэди и джентльменов». Далее в переводе с вирджинского: — Я имею большую привилегию передать вам сердечно-чувственные и теплые рэгарды из народа Шэнандоаской долины, партикулярно из клуба горшечников миссис Хоггенцоллен. Дайте мне заверить, что эта скромная донация рефлектирует лишь небольшую секцию большой симпатии в

сторону очень большого народа на очень, очень большом кроссроуд ов хистори!»

Дамы смотрели на нее удивленно, будто только что заметили. Мужики отклонялись со стульев, чтобы как бы оценить задок. Даже сексуально сытые или с плохим аппетитом считали необходимым показать недремлющее либидо. Один только Аркашка Грубианов почему-то в этот момент приуныл. Почему-то именно во время тоста этой лупоглазой шведки-что-ли он подумал о своем стукаческом подвале, который из-за развала СССР может вдруг открыться с ошеломляющей вонью.

Палмер кистями обеих рук указала обществу на синий сверток под мерцающей иконой, рядом с которым сидел, пританцовывая, декласе Чувакин, уже не босой, но обутый в большие итальянские сапоги Музы Борисовны на стальных шпильках. Он взял сверток и передал его хозяину дома Модесту Орловичу, и тот принял предмет не без нежности. «Как его зовут? — спросил он гостью. — Ном? Наме? Нэйм?» Раскачивал, сам качаясь над столом, сплошной папаша. Теплое чувство изливалось из детских, если не ослиных, глаз художника. Мужичье захохотало не очень злобно: «Признавайся, Модест, заделал шведке? Теперь получай на воспитание!»

Палмер быстро распеленала сверток прямо на столе по соседству с осмериковым печатным штофом царской водки, хрустальной славянской ладьей, все еще хорошо нагруженной каспийским кавиаром, полуобглоданной ножищей венгерской равнинной индейки, россыпью сигарет наиболее престижных в ту мутную русскую зиму марок, а именно «Мальборо» и «Данхилл», а также предметами той западной консервированной услады, что нанесла непоправимый уже удар по советскому марксизму, ну, чтобы не косолапить больше по безобразной фразе, рядом с банками пива. Взору общества предстал тщательно разработанный тетушками «Поттери-клаба» набор: две коробки обогащенного риса «Дядюшка Бен» для быстрой варки, пакет машрумной густой подливы, большая коробка овсяных хлопьев «Здравый смысл»

(все-таки, оказывается, присутствует в контексте цивилизации), этот кладезь благотельной клетчатки доброго витаминного букета вкупе с рибофлавином, магниезией, цинком и даже оптимальным количеством меди, причем при полном отсутствии сатурированных жиров и холестерина, две пачки спагетти «Таун-хаус» и к ним необходимые ингредиенты в лице тубика кетчупа и банки порошкового пармезана, три коробки идеального поставщика белков, вот именно — «Тунец в весенних водах», дабы каждый едок хоть ненадолго почувствовал себя тунейдцем, ну, «Бульонные кубики Уайлера» и непременно три банки «Супа Кэмпбелл» имени Энди Уорхолла; ну, пакет с чайными мешочками «Липтон» (пейте 100 крепких стаканов, или 200 умеренных стаканов, или 300 благоразумных стаканов), ну, банка растворимого кофе Кэмпбелл, чью последнюю каплю оценил еще Маяковский, когда кепчонку не хотел сдирать с виска, ну, пакет псевдосливков к этому кофе, чтобы голодающий народ все-таки не жирел, смесь горячего какао, набор пряностей Маккормика в составе измельченных петрушки, сельдерея и «Сладкого Базилия» (следует отметить несомненную утонченность Хелен Хоггенцоллен), ну, шампунь «Голова-Плечи», паста «Гребень», набор миниатюрных щеточек «Прокса-браш» для очистки российских межзубных пространств от остатков американской еды, банка витаминов «Джеритол», аспирин «Браун» и геморроидальные свечи «Препарэйшн-Эйч» для благополучного исхода всего перечисленного выше, ну и, наконец, некоторые лакомства для детворы — шоколадки «Кранч», датское печенье, полурезиновые конфетки «Джели-биинс», а также в завершение кое-что для души, фигурка американского Деда Мороза, Санта. «Вот и все! — звенящим голосом воскликнула Палмер. — Алас, немного, но с самого дна нашего сердца!» — «Фирма!» — завопил Чувакин и бросился выхватывать из развернутого пакета его животворное содержимое. Грубианов тут потянул на себя, и все рассыпалось. Все завертелось в веселой жадной возне. Вспыхивая лиловыми глазами, пролетела Птица-Гамаюн с банками «курицы моря». Другие

девушки уже всюду пудрились пармезаном. Даже сотрудники совместного предприятия «Очи черные» не погнушались подарками, хотя у них этого добра, в итальянском варианте, было заготовлено достаточно на случай многомесячных уличных боев в советской столице. Критики же славянофилы, уж на что гордый народ, и те не преминули зажать по пакетику грибной подливки. Среди всей этой кутерьмы один только скрипач не позволял себе отвлекаться. Покусывая мелкотрубчатые макаронные изделия, он томительно выводил мелодию «Иестердэй». И Муза Борисовна, внезапно схваченная мокрой ностальгией, светло плакала, поддерживая все еще дивные груди ея. Меж них у нее покоился, добавляя особый смысл к улетающему моменту, набор сухих пряностей «Маккормик».

Один лишь только хозяин, будущий экспонат аукциона «Сотби», Модест Полигаменович Орлович, остался было без сувенира, но и он быстро нашелся. Сфокусировав над растерзанным пакетом незаконного младенца его узкоплечую мамашу, он вдруг решил, что этот как раз то, что ему осталось: символ материнства, модель нового акрилового мирискусничества в синем. «Мазер! Чайлд! Пэйнтинг! Же ву съем! Лав! Сэанс!» — Он ухватил Палмер за трепещущие запястья, на которых крупными кузнечиками бились пульсы, и повлек ее в лабиринт перегородок, в святая святых, где стоял натянутый холст, да в окне мутно светилась российская история: гранитный истукан с кучерской гривой, да высоченные фонари, знавшие лучшие времена социализма, да имперский желток Малого, примешанный к зловещему дегтю пустых торговых рядов, да неуместная посреди 1991 года классика Большого с ее, совсем уже не от мира сего, тачанкой-квадригой.

Полуизнасилованная Палмер усажена была на подоконник в полурастерзанном виде — позировать. Он даже не заметил, что похитил у меня мою вишенку, думала она с полунежностью, глядя, как было сказано, «в муть этой гребаной Византии» и лишь изредка сотрясаясь в коротких ошеломлениях. Художник же вдохновенничал, или, как в их

кругу говорили на манер джазистов, «лабал» у своего холста. Время от времени сквозь заляпанную икрой, шоколадкой и губной помадой проволоку бороды прорывались имена существительные: «Солитьюд. Эйлизнейшн. Ангажман. Вельтгейст!» Из-за перегородок неся все нарастающий в своей дикости шум гулянки.

Так прошло два часа, после чего с площади, все еще донашивающей имечко скромненького большевичка Яшеньки Свердлова, донеслись два несильных взрыва. Фонари по всеми пространству погасли. Мрак наполнился дымом. Сеанс продолжался еще целый час. Силуэт Палмер теперь отражался в приткнутом к стене эмалированном тазу. Спасибо джоггингу, думала она, это он помог мне сохранить до 29 лет волшебные формы Принцессы Грезы. Еще целая серия сильных звуков донеслась из трапезной. В творческий закуток всунулось с разных сторон не менее дюжины залитых диким счастьем рож. «Кататься, кататься! На лошадях кататься! — Модест отбросил кисти.— Айда, Кимберлилулочка!» Вокруг уже бесновались карнавальные маски: «Там кони в сумерках колышут гривами!» Палмер поспешно, но бережно упаковывала свои грудки.

«Тройка?!» — вспомнила она словцо. «Тройка русски?!» Грубианов поволок, норовя водрузить все ее сто десять фунтиков себе на плечи. Гости валом сыпались с верхотуры. Вымахивали на волю, что все еще была улицей 25 Октября, хоть и на грани выbleвывания всего Октября целиком.

Экипаж уже ждал. Заказано через вооруженную фирму «Алекс». Гарантируется полная надежность. Тройка оказалась суперлюксозной, даже и не тройка, а отлитая в лучших традициях бароном Клодтом квадрига. Удары копыт высекали ворохи искр и крошили старый асфальт. Незыблемость основного начала гарантировала широченная мытищинская спина кучера. Палмер прижалась щекой к этому недоработанному кудашевскому монолиту. Неорганический космос, что ли? Побег к небесным булыгам, не так ли?

Второй отрыв Палмер

Почти весь 1992 год Кимберли Палмер провела в России, но к осени прибыла в родной Страсбург, штат Вирджиния. «Палмер вернулась из России совсем другим человеком», — сказал аптекарь Эрнест Макс VIII, глава нынешнего поколения сбивателей уникальных страсбургских молочных коктейлей, которые — сбиватели — хоть и не обогатились до монструозных размеров производителей массового продукта, но и ни разу не прогорели с последней четверти прошлого века, сохранив свое заведение в качестве главной достопримечательности Мэйн-стрит и привив вкус к жизни у восьми поколений здешних германских херувимов; у-у-упс, кто-то кокнул бокальчик с розовым шэйком, заглядевшись на «авантюристку Палмер», переходящую главную улицу. «Never mind, — воскликнул Эрнест, — обратите внимание, даже походка другая!» — «Она там явно потеряла невинность», — шепнул какой-то доброхот сержанту Айзеку Айзексону и чуть не заслужил пулю в лоб, и заслужил бы, если бы у сержанта чувства долга не преобладало над личными эмоциями. Между тем Палмер, завернувшись в многоцелевой туалет от Славы Зайцева, пересекала магистраль по направлению к «Хелен Хоггенцоллерн Поттери-Клубу», из которого уже выскакивали дамы, чтобы заключить ее в объятия. «Мне даже странно вас приветствовать, дорогие друзья», — сказала Палмер на расширенном заседании клуба, где меж керамических изысканностей теперь щебетали канарейки и сияющая от гордости Хелен в сверхразмерной майке с русским двуглавым орлом обносила гостей миниатюрными чашечками кофе-(!)-эспрессо. — О, как странно, друзья, вернуться на родину в этот тихий городок после десяти месяцев в той невероятной стране!» — Тут она замолчала с широко раскрытыми глазами и как бы даже забыла о том, что ее окружало в эту минуту.

И дамы тоже расширили глаза в немом благоговении.

Теперь, в тишине долины Шэнандоа, этот десятимесячный «русский фильм», словно «виртуал риэлити», включался в сознание Палмер абсурдно перемешанными кусками, то по ночам на подушке, то за рулем «тойоты», то в супермаркете, то во время бега, то перед телевизором, то при раскуривании сигареты — эта приобретенная в России вредная привычка казалась чем-то вроде инфекционного заболевания просвещенным жителям Вирджинии — и перекрывал собой полыхание «индийского лета», мелькание белок, маршировку школьного оркестра, привычные телесериалы, по которым она, надо сказать, основательно скучала в России, пока не забыла.

Вдруг она видела перед собой гигантскую торговую смуту Москвы, кашу снега с грязью под ногами, а над головами — ошалевших от дикого капитализма ворон, женские кофточки на плечиках рядом со связками сушеной рыбы, развалы консервов вперемежку с дверными ручками, бутылками водки, губной помадой, томиками Зигмунда Фрейда и Елены Блаватской. В глубоком сне блики России, вмещавшие в себя нечто большее, чем чувства или мысли, впечатывались в темноту, словно образы ее собственного умирания. Мезозойская плита российского континента пошевеливалась медлительной жабой, метр в тысячелетие.

Встряхиваясь, она курила в спальне — только «Мальборо», чья марка почему-то считалась в Москве самой шикарной, — и снова кусками просматривала свой «фильм»: драка вьетнамских торговцев в поезде Саратов—Волгоград, крошечные и свирепые, в джинсовых рубашках со значками «Army USA», они прыскали друг другу в лицо из ядовитых пульверизаторов и растаскивали какие-то тюки; раздача гуманитарной помощи детям сиротского дома возле Элисты, она туда приезжала в ходе совместной акции британского Красного креста и германской группы «Искупление»; таскание по чердакам и подвалам богемной Москвы и мужчины, множество этих, не всегда сильных, но всегда наглых, подванивающих неистребимым никаким парфюмом потцом,

грязно ругающихся или воспаряющих к небесам; тащили в угол, совали водку, тут же чиркали своими ширинками, как будто в этой стране идеи феминизма и не ночевали.

Иногда она в ужасе вскрикивала: неужели именно таких кобелей она подсознательно предвосхищала, думая о России? Нет, нет, было ведь и другое, то, что совпало с юношескими восторгами: и скрипичные концерты, и чтение стихов, и спонтанные какие-то порывы массового вдохновения, когда в заплеванном переходе под Пушкиной шакалья толпа вдруг начинала вальсировать под флейту, тубу и аккордеон. «Дунайские волны»! После вальса, однако, все стали разбегаться, вновь в роли шакальей стаи, и аккордеонист вопил им вслед: «Падлы! Гады! А платить кто будет, Пушкин?!» Оставшись в пустоте, закрыл глаза и заиграл «Yesterday».

Столько всякого было, и все-таки, сознайтесь, Кимберли Палмер, главным вашим открытием в России оказались мужчины. Сначала она встречалась с ними как бы движимая какой-то слезливостью, материнскими атавизмами, а потом, приходится признать, появилось нечто сугубо физиологическое, некий сучий жар, мэм. В китайгородской студии художника, пожалуй, не осталось ни одного завсегдаята, который бы не познакомился поближе с «англичанкой», или, как ее еще называли здесь с памятной декабрьской ночи 1991 года, когда пакет с гуманитарной помощью был принят за ребенка, «матерью-одиночкой». Дошло до того, что о ней стали говорить нечто не совсем понятное: «вразнос пошла баба!»

Самые ужасные воспоминания были связаны с Сокольническим абортарием, куда Модик Орлович ее привез к знакомому доктору. В стерильно чистой Вирджинии даже представить себе было нельзя подобной медицины, подобных санитарок и сестриц, не говоря уже о пациентках. Палмер была уверена, что живой ей оттуда не выйти, и тем более удивительно было то, что так все обошлось, не оставив ничего, кроме гордости сродни той, что остается у заложников после бейрутского плена.

Потрясенный сержант Айзек Айзексон, в первый же вечер по возвращении получив от нее то, о чем мечтал столько лет в танталовых муках, с налетом трагического сарказма пробормотал: «Я вижу, ты там прошла курс групповой терапии по преодолению сексуальной сублимации, не так ли?» — «Если только не групповой хирургии», — усмехнулась она.

Сержант Айзексон по роду службы сталкивался с проявлениями бешенства, однако до недавнего времени не очень-то понимал, откуда бешенство берется в человеческой природе. Теперь, когда ему самому приходилось иной раз подавлять вспышки бешенства, его взгляды на человеческую природу значительно расширились. И даже как бы углубились. Вот именно, иногда говорил он сам себе, сидя off duty за упаковочкой пива перед хрюкающим телевизором, теперь я как-то глубже смотрю на всю эту сволочь.

Он сделал Палмер предложение и неожиданно получил согласие, что опять поколебало его представление о человеческой природе; в какую сторону, он пока не мог разобраться. Теперь они появлялись на людях, в частности, в кегельбане «Аскет», как жених и невеста.

Все вообще входило в свою колею. Разумеется, в отделе автомобильных ссуд банка «Перпечьюэл» сидела другая Кимберли Палмер, если так можно сказать о вечно жующей халде из Западной Вирджинии, однако банк-конкурент почти немедленно пригласил к себе местную знаменитость, что выполнила свой долг американской христианки в столь далекой и опасной стране, и этим привлек новых клиентов к своим источникам финансирования. Огромные клены, тополя и каштаны на улицах Страсбурга с умиротворяющим шелестом приняли блудную бегунью под свои кроны. Из Москвы никто не отвечал на письма Палмер, и Россия снова стала превращаться в академическую абстракцию из университетского каррикулума. В лучшем случае она еще ассоциировалась с «Шестой Патетической» Чайковского, которую Палмер прослушивала во время пятимильного бега; скрипки и медь, щемящие взлеты маленьких дудок...и это

Россия?... предмет вдохновения и продукт вдохновения существовали в разных плоскостях, не сливаясь. Музыка находилась в пугающем отчуждении от обоняния. «Даже если ты так любишь эту дрянь, вовсе не обязательно туда ездить. Возвращайся в университет и изучай всех этих», — говорил неглупый Айзек. Он вступил в переписку по поводу вакансии в органах охраны порядка по периферии университета Вандербилд в городе Нэшвил, Теннесси. Кое-какие накопления, сделанные при холостяцкой умеренности, помогут продержаться года два-три до получения нашей девушкой «мастера изящных искусств».

Так неприятно все протекало едва ли не целый год, а именно до конца сентября 1993, когда в доме Палмер раздался внеурочный, а именно в три утра, телефонный звонок. На проводе был Аркадий Грубианов. Ну, это по старинке говоря, «на проводе», в ночной действительности перепуганной Палмер послышалось что-то космически-гулкое, судьбоносное в этом звонке извечного московского гуляки, «ходока» и «алкаша». «Привет, старуха», — сказал он по правилам московского жаргона, который еще так недавно восхищал пионерку гуманитарной помощи, а сейчас вызвал лишь легкую тошноту. — «Надеюсь, еще не забыла „те ночи, полные огня“? Звоню тебе из вашей столицы. Нет, не из нашей, а из вашей, из вашего-не-нашего Вашингтона-не-Нашингтона, всасываешь? Бессонница, старуха, Гомер, тугие паруса, вот список кораблей, ну, прочел в общем до середины и подумал: дай-ка позвоню Кимке Палмер, все-таки хорошо, когда своя чувиха есть за океаном, верно? Да нет, не эмигрировал, чего мне эмигрировать, когда и дома хорошо. Бизнес, конечно, да только не коммерческий, а государственный. Аршином-то нас, мамаша, общей палкой-то не измеришь, но только я тут с правительственным визитом».

Из дальнейшей, то ленивой с прихлебом, то скороговорчатой с захлебом, болтовни забубенного Грубианова Палмер поняла, что он недавно стал членом правительства, а именно министром культурных коммуникаций — не путать с ми-

нистерством культуры — Российской Федерации, и вот сейчас прибыл в Вашингтон во главе делегации. «Переговоры ведем, старуха, по пять, по пятнадцать переговоров ежедневно, всего пять тысяч переговоров! Десять тысяч соглашений подписываем! Курьеры летят туда-сюда, тридцать тысяч курьеров! Факсы, модемы, все дымится! У меня и у самого уже дымится, потому и тебе звоню! Приезжай в „Риц-Карлтон“, спросишь министра Грубианова!»

Иначе, как дурацкой шуткой, не могла Палмер полагать ночные излияния московского шута с ампула «герой-любовник». Он и сейчас был почти plastered, когда молол своим могучим, но не очень послушным языком какой-то вздор о правительственном оздоровительном центре, где он плавает ежедневно с самим Рублискаускасом и прыгает с трамплина в воду вслед за самим Пельмешко, плашмя, пузом, фонтан из жопы, и где как раз и было предложено ему, брызги шампанского, министерское кресло. Палмер не до конца понимала специфику революционных ситуаций и потому ей трудно было представить, что министром может стать какой-то основательно бесноватый актер-актерыч, больше того, что даже и министерство для него могут шить прямо на краю плавательного бассейна. «Хочешь, машину за тобой пришлю? С телохранителями! Пять телохранителей! Десять!» — «Послушай, Эркэиди, я совсем не в позиции идти в тебя три часа эй эм», — наконец сформулировала Палмер. «Ну вот, опять по-чухонски заговорила», — огорченно вздохнул министр, а потом совсем ее ошарашил, сказав, что в таком случае Магомет сам придет к горе, в том смысле, что вечером он будет в десяти милях от ее «с-понтон-Страсбурга», с именно в Хорбут-плэйс, ну да, у тех самых Корбутов, которые дают ужин в его честь, и он ее приглашает как министр. Приезжай без балды, этот Стенли Корбут — совсем нормальный малый, совсем свой в дупель чувак, торчит на Рашен Арт, Птица-Гамаюн замаячила его до пупа!

Корбут-плэйс! Хотя и расположено было это поместье в десяти милях от Страсбурга, местные жители могли увидеть его крыши только с видовой площадки на Голубом Хребте, в

тридцати милям отсюда. Все подъезды к лесистой территории, размером не уступающей карликовым государствам Европы, вроде Андорры или Лихтенштейна, были перекрыты шлагбаумами. Для местной девушки приглашение в замок королей мясо-молочного бизнеса было равносильно какому-то опро-ивонно-ванному воплощению мечты. Палмер была уже не совсем местной, но тем не менее поехала. Почему-то захотелось снова увидеть полные красные губы Аркашки Грубианова. Что касается робости перед мясо-молочной аристократией, то Палмер, вращаясь чуть ли не год среди богемной, или, как тогда говорили, «халявной», шпаны, уловила одну кардинальную установку: «а мы кладем», то есть «нет проблем», в непрямом переводе на английский.

Ничего не сказав сержанту, она отправилась в своей «тойоте». Может быть, Аркашка все и наврал, но почему не рискнуть? У первого шлагбаума дежурили сильные ребята из корбутовской гвардии. Узнав, что она приглашена министром Грубиановым, они почтительно козырнули и теми же увесистыми ладошками указали направление. Сразу же за чекпойнтом лес переходил в парк. За аллеями стройных деревьев видны были обкатанные идеальной стрижкой зеленые холмы, античные скульптуры и садовые, на версальский манер, террасы, спускающиеся к пруду с фонтаном. Стекла шато отражали шэнандоаский закат во всем его великолепии и даже превосходили это природное явление, поскольку добавляли к нему архитектурную симметрию. Эти закаты меня всю жизнь сбивали с толку, подумала Палмер, входя в замок. Только уже переступив порог, она сообразила, что дверь ей открыл лакей в чулках и перчатках.

В обеденном зале с дубовой резьбой, которой бы хватило на эскадру фрегатов, сидело общество, персон не менее двух дюжин. Обнаженные плечи дам как бы раздвигали и без того обильные масштабы сервировки. Палмер опустила древне-русскую шаль: плечи были не худшими частями ее хозяйства. «Я спал с этими плечами, я с ними жил», — вспомнил министр Грубианов. Он являл собой воплощение этикета. Вместо вечно разодранного свитера с закатанными

рукавами на нем был полный комплект «черного галстука», взятый напрокат через отдел сервиса отеля. С благосклонной улыбкой он указал Палмер на свободное место, пару кувертов от себя, одесную. Еще более церемонной особой предстала с лиловатыми, павлиньими окологлазиями девица Ветушитникова, известная в соответствующих кругах Российской Федерации как Птица-Гамаюн, ныне заведующая сектором юношеского обмена. Издалека она лишь губками еле-еле шевельнула, посылая Палмер воздушный поцелуй. Воображаю, что будет, когда они напьются, подумала адресат поцелуя.

За столом шел оживленный разговор, ну, разумеется, о России. Леонид был настоящим лидером, господа, а вот его дочь Брежнев — это воплощение женственности. Совершенно согласен, я знал и того и другую. Леонид был tough, но Брежнев оказалась сущим очарованием! Площадку постепенно захватывала старуха с подсиненными седыми кудрями, известный тип полуочумевших богатых энтузиасток, у которых каждый год новая «феня»: то Винни Мандела премию дают за «нравственный героизм», то каких-то обожравшихся поэтов везут на собственном самолете в Португалию, то «диснейлэнд» открывают для уличных гангстеров, чтобы отвлечь их от «крака» и пистолетов. В данный период старуха занималась долларовыми вливаниями в Министерство культурных коммуникации Российской Федерации, МККРФ, и поэтому все ее слушали со вниманием. Звали эту даму, естественно, Джейн, она рассказывала: «Колоссал импрешнз, фолкс, неизгладимые! Возле Москвы мы посетили дом великого русского поэта на букву «П», сейчас вспомню, ах да, дом Потемкина!»

Министр и члены делегаций почтительно кивали нижними частями голов. Им никто не переводил, и они, конечно, ни фига не понимали. При слове «Потемкин» кто-то неуместно хохотнул. «Поэт Потемкин?» — переспросила Палмер. С этим именем у нее еще со времен ранних штудий в университете Вандербилд связывалось что-то не совсем поэтическое, что-то из области тайной войны, штурма Турции: жезл с

бриллиантовой шишковинной, стеклянный глаз, яхта Онассиса, нет, это уже из другой оперы. «Не просто поэт, а великий поэт, — сурово насупилась Джейн, сама как бы слегка из потемкинской эпохи со своей голубоватой волнистой укладкой. — Он жил в маленьком городе Переделкино», — неожиданно название «маленького города» было произнесено почти порусски. «Пастернак!» — тогда воскликнула Палмер, и Аркадий Грубианов гулко захохотал, чуть не сорвался. «Где? — быстро оглянувшись, спросила миллиардерша, потом озарилась. — Ну, конечно, я немного перепутала, доктор Пастернак!» Палмер начала разрезать что-то, поданное на фарфоровой тарелке, похожее на тихоокеанский атолл; она трепетала. «Сын великого доктора Пастернака показывал нам его дом, — продолжала Джейн. — Бедный, бедный, как он жил! Послушайте, сказала я сыну, пожалуйста, не возражали бы я вас снимала за столом вашего отца? О, бой, сын воспалился возмущением! Он кричал и махал руками, отвергая мое скромное предложение! Я никогда не думала, что между отцом и сыном были такие напряженные отношения!» — «О, бой! — воскликнула тут в тон золушка этого вечера, которую никто не знал, кроме нескольких русских. — Да ведь ваше предложение, дорогая миссис Катерпиллер, прозвучало для этого человека святотатством!» — «Святотатством?!» — восхитительная старуха гордо подбоченилась на фоне резного дуба, словно адмирал Нельсон. Тут уж Аркаха расхохотался, несмотря на министерский титул. Кто-то ему очевидно что-то перевел из женского диалога, и он заорал через стол благотворительнице российских культурных коммуникаций: «Ну, Джейн, ты даешь! Да ведь это все равно, что в туринском соборе попросить плащаницу примерить! Пастернак-то у нас там святой, дом-то его ведь храм же! Эй, кто-нибудь переведите ей что-нибудь!»

Никто, конечно, ничего не перевел, но все начали смеяться, глядя на российского министра, который, казалось, от полноты чувств может разнести тесный фрак. Напился, однако, первым не министр, а хозяин, Стенли Корбут, стройный ветеран бизнеса, вечно нацеленный на гольф, секс

и шампанское. Последнее, очевидно, не полностью уходило в глубины его организма, а частично оседало в индюшачьей сумке под подбородком, что делало его ходячим символом небрежного и наплевательского капитализма, как бы даже уже потерявшего интерес к прибылям. «Танцы! — возопил он. — Начинаем вальсы!» — и схватив под микитки девицу Ветушитникову, закружился к ней по направлению к спальне.

Впрочем, и почетный гость не заставил долго ждать. С не меньшей непринужденностью он сунул в нагрудный карман пару сигар с сигарного столика, в брючный глубокий кулуар бутылку «Гленморанджи» с коктейльной стойки и решительно повел подругу Палмер к выходу. Принцип взаимности. Русские не сдаются, они становятся союзниками! Все наши вещицы птицы, Алконосты, Сирины, Гамаюны, настоящие, не бляди, парят в пространстве, но самая главная Фениксом встает из красного пепла, мужает с двумя башками, требует двойного рациона! Мы еще увидим небо в алмазах! Человек — не блоха! Велика Российская федерация, но отступить некуда!

Когда он угомонился и задрях на раздвинутой спальном софе, Палмер вышла под лунную благодать и присела на чугунный стульчик весом в пуд, лучшую часть бабушкиного наследства. Тут же лужайку пересекла человеческая тень, это выдвинулся на передовую позицию сержант Айзексон с полным набедренным набором: палка, пистоль, ходилка-говорилка, наручники. «Значит, это вот и есть один из твоих русских? — сказал он с достаточным выражением. Палмер задумчиво покивала головою. — Знаешь, эти русские нынче, какие-то не очень русские. Тот, что спит там сейчас, министр, он меньше русский, чем я англичанка, или ты — швед. Время художественной литературы, увы, прошло» — «Я его пристрелю еще до восхода солнца», — предположил сержант. «Ты не сделаешь этого», — резонировала она, не в том смысле, что откликнулась эхом, а в том смысле, что выдвигала резон для воздержания от насилия. «Почему? Хотя бы потому, что ты уважаешь меня и видишь во мне не только влагалище!» — На чреслах сержанта задрожали железные предметы. Он, признаться, никогда и представить себе не

мог подобного резона, а сейчас содрогнулся. Она встала, и луна обтянула своим светом ее тело будущей чемпионки Бостонского марафона. «Ну что ж, пойдем в гараж, Айзек». Утром, за завтраком, министр Грубианов, как был, в наемном фраке, подарил палмеровскому племяннику Фрицу Герменстадту часы «Тиссо» с браслеткой, а его мамочке Розалин две бумажки из слежавшегося за пазухой запаса сотенных. Съев изрядную горку вирджинских гречневых блинчиков с кленовой патокой, он попросил включить CNN. Оказалось, что в Москве в полный рост развивается, по выражению нового президента Руцкого Сани, «Вторая Октябрьская революция».

С этого момента весь уикэнд пошел под оком Атланты, если можно так для красоты выразиться, имея в виду сиэнэновские камеры, парящие над сонмищем московских зданий, в том числе и над министерством Грубианова. Фрак все-таки полез по швам. Небритый министр в глубоком кресле перед ящиком курил украденную сигару, булькал солодовым виски «Гленморанджи». Между тем по экрану прокатывались волны вновь осатаневших большевиков. Вдоль Садового кольца горели костры из автомобильных покрышек. Ухая молотками, свистя серпами, накатываясь колесницами свастик, толпа расправлялась с милицией. Среди ражих детин смертоносцами с профилями Ильичей и Иосифовичей неслись комсомолки сороковых и пятидесятых. Ударные хлопцы захлестывали на ооновских шеях велосипедные цепочки, старухи довершали дело древками знамен.

Грубианов Аркадий бил кулаком в ладонь, похохатывал, дико оборачивался к Палмер как бы за подтверждением своих невысказанных мыслей. Вокруг ходили на цыпочках, прикладывали палец к губам. Домочадцам казалось, что в гостинной поселился тифозный или алкогольный больной.

Так шли часы, борода у министра росла, красные в Москве побеждали. Блокада прорвана! Из огромного дома, построенного, как нарочно, в стиле социалистического апофеоза, выходили цепи автоматчиков в камуфляже. Раскатившись, крюками врубались в соседний небоскреб,

вышвыривали трехцветные тряпки, вздымали победный кумач. Рушились стеклянные стены капитализма. «Ух, дали! Ух, здорово! Саша, вперед!», — восхищенно кричал Грубианов. С огромного балкона вождь московского восстания, не менее опухший, чем вирджинский зритель, провозглашал победу, посылал пролетариат на Останкино, на Кремль!

Недолгое время спустя возникли кадры вдвойне телевизионного побоища: американское телевидение «покрывало» гибель российского. Генерал в натянутом на уши берете, с лицом гиены, распоряжался штурмом. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и Макашов на битву поведет, голосили мастера завтрашних расстрелов. С ревом пронеслась выпущенная по центральному входу ракетная граната. Летят стекла, коллапсирует бетон. «Ух ты! Ух ты!», — хохочет в вирджинской ночи министр свергаемого правительства.

Боже, что с ним происходит, шептала Палмер. Тут просто все сплелось, Ставрогин и Свидригайлов со всей современной гнилью! Кто он такой, если не исчадие русской литературы? Она задремывала в углу вековой палмеровской гостиной, под портретом грэндматушки, и просыпалась, когда телевизор начинал тарыхтеть на более высоких оборотах и когда что-нибудь с грохотом рушилось в Москве, а Грубианов раздражался новым потоком хохота. История поворачивает вспять, а исчадие хохочет!

История, однако, повернув вспять, только потопталась на одном месте, а потом снова крутанулась и погнала краснопузых назад под защиту советской конституции. Министр Грубианов продолжал наслаждаться зрелищем. Кантемировские танки начали молотить по штабу «Второй Октябрьской революции», а он хохотал с тем же восторгом: «Вот дают! Вот здорово! Наша, вперед!» Вожди пошли сдаваться, и тогда уж он дохохотался по икоты: «Вот кайф!»

Уж и следующий день занялся над невинной Вирджинией, и в тлетворной Москве стало вечереть под осыпающимся пеплом, когда министр грохнулся на колени, обхватил ноги Палмер всечеловеческим объятием и бурно заговорил в манере дубль-МХАТа, временами погружаясь носом в

женскую опушку, немного колючую даже через тренировочные штаны: «Возьми меня, Кимберлилулочка окаянная, мать-одиночка, ведь я твой единственный гуманитарный пакет! Никто, никто не знает, кто я на самом деле такой, а тому, кто узнает, уже не поверят! Увези, увези ты меня от меня самого со всеми моими слипшимися долларами! Жизнь еще грезится, грезится за подлейшими окоемами! В Тринидад-ли, в Тобаго-ль, дай мне очухаться в тропиках чувств, отмыться в водопадах признаний! Не покидай меня, Дево, в апофеозе мечты о всемирной демократии! Лэди доброты, лишь в лоне твоём вижу вселенскую милость, гадам буду, ангел человечества!»

Подняв лицо к потолку, Палмер ждала, когда изливания захлебнутся. Вопрос доброты был для нее мучительным. В ранней юности, глядя в зеркало на свое лицо и замечая в нем выражение доброты, она думала: «При моей внешности доброта — это единственное, на что я могу рассчитывать». — Эти мысли приводили к некоторому самоистязанию. «То, что люди и в частности мужчины принимают за доброту, на самом деле может быть лишь самоскроенной маской, а по своей сути я, возможно, хитра и зла». Поездка в Россию усугубила это противоречие. Маска, кажется, слишком плотно прилепилась к губам и носогубным складкам. Все вокруг пили за ее доброту. Я неискренняя, самоистязалась она, я ловчу со своей добротой и все из-за проклятых мужчин. «*Elevez-toi, Arkady, s'il tu plait!*», сказала она не по-английски, но от растерянности перед очередным поворотом судьбы и не по-русски. Школьная программа французского языка вдруг выплеснула из глубин еще один упругий фонтанчик милосердия.

Туристическое шоссе Скайлайн-драйв вьется по самому гребешку Голубого Хребта над долиной Шэнандоа, больше ста миль на юг. Справа открываются ошеломляющие закаты, слева благодетельные восходы. В зависимости от времени суток, разумеется. Но если вы в отрыве, в разгаре гуманистической акции, вам может показаться, что небеса запылали одновременно с обеих сторон.

Палмер выбрала этот путь инстинктивно, и только лишь потом поняла, что пытается уйти от представителей сил порядка. Она вела свой автомобиль, стараясь сгонять с лица всякие промельки доброты. Рядом в распаханном по всем швам фраке кучей осело тело министра. Не видя никакой манифестации небес, он храпел в отключке, однако временами вздрагивал и четко отвечал на неслышные вопросы: «Не состоял! Не был! Не подписывал! Не докладывал! Не брал! — Однажды вдруг вспучился, забормотал: — Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, прости и защити!» — и рухнул снова.

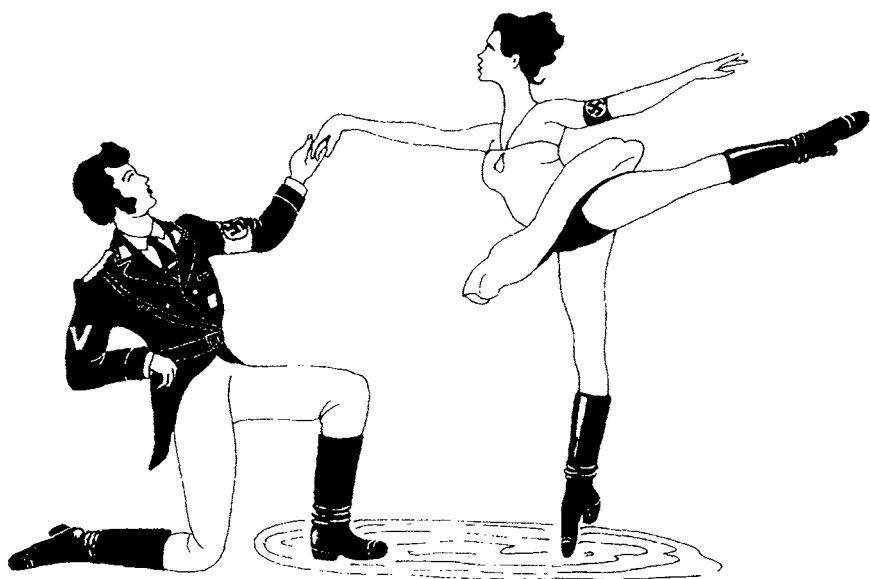
По прошествии получаса, взглянув в зеркальце, Палмер увидела плотно идущий вслед за ней «шевролет» с сигнальной перекладиной на крыше. Маске викинга за его ветровым стеклом нехватало только двух коровьих рогов по бокам головы. Ну, что ж, сержант Айзексон, вот сейчас мы и проверим ваши человеческие качества!

Ноябрь 1993

Жена Умришца

в балете Н.Н. Чайковского

„Лебединое озеро“



Д.А. Призов

Москва 1994

Авторская пунктуация сохранена

Предуведомление

Мы вечно испытывали недостаток в решительных и изящных героях. Ну – Балконский! Ну – Павел Корчагин. А остальные – либо слоняющиеся, либо дикие, вроде Достоевского. Один Балет Большого Театра спасал нас от полнейшей утраты романтизма и аристократизма.

И вот на волне страстного оживания, в самой тишайшей дыре, спящем завале дедушки Брежнева, как вызванный мистическим напряжением расслабленной воли, вдруг является он видением черного крыла. И страна замерла.

Явился Он в окружении таких же блестящих, остроумных, в балетных, черным серебром простроченных мундирах, с загадочными улыбками, с некой укрытой, по-мужски обаятельной жестокостью. О–о–о, они – жестокие!

И он, он – чуть-чуть, ну, совсем чуть-чуть чрезмерно рефлектирующий (русский, все-таки!), с неким глубоко зомбированным пространством отдельной памяти, шизофренически разрастающейся до видения иной, может быть, астральной Родины, что-то от него ожидающей, требующей, противопоставляющей его таким близким, родным и очаровательным сотоварищам. Временами он теряет голову и мечется в псевдо-трагическом раз-

двоении: Что я? Где я? –Тихо,
тихо, все хорошо! – Кто он? кто? –
Он – это ты! – Нет, нет, я нена-
вижу их всех! Передайте на Роди-
ну, что азимут номер сорок во-
семь перекрыт вдоль поперечного
сечения на одиннадцать каратов! –
Хорошо! хорошо! все будет хорошо! –
и всхлипы, и слезы, и снова –
выглаженная рубашка, отутюженные
стрелки черно-вороних брюк и
почти алмазные грани кителя, стро-
гий постав головы, легкая сардони-
ческая улыбка от моментальной,
промелькнувшей, как искра, боли
в виске, и тихий усталый прищур
еле заметно озлившихся глаз

Вот бал в неведомом дворце
И принц прекрасный от Одетты
Без ума
Тут Штирлиц в черное одетый
Приходит с мукой на лице
И что ему весь этот пир
Сладость чайковских песнопений
Кричит: Все это мой мундир
Черный!
А я – я добрый, добрый гений!
Но поздно – гибель лебедей
И голос
Из репродуктора плывущий:
Ты, Штирлиц, был и есть злодей
Неведающий! даже пуций
Злодей!
Расстрел тебе!
Без права апелляции

Вот он весь в оперенье белом
Как лебедь женски-утонченный

И музыка
 Но вдруг как выстрел–парабеллум
 Он просыпается – он в черном
 Весь
 Мохнатые когтисты лапы
 Он здесь! Он – Штирлиц! Он –
 Гестапо

Сотрудник

Постой, постой, дай, я сыграю
 Как это в скрипках там звучит
 Тема любви?! вот я страдаю –
 И вправду! –вот слеза бежит
 Красная
 По мундиру черному с кистями
 А вот до черепа с костями
 Побежала

Вот разбежались все со сцены
 Кордебалетно–лебединый
 Выводок весь
 Лишь Штирлиц мечется единый
 Рыдает, лезет вверх на стены
 Стенает: Я на вас похожий
 На мне мундир лишь
 черный
 Под ним я с белой тонкой кожей
 Сорвите все с меня! – но
 обреченный
 падает
 Мундир не срывается

Вот Штирлиц по ночам изучает в
 лупу структуру своего мундира
 и партитуру Лебединого озера и
 обнаруживает удивительное сходст–
 во, вплоть до личинок бабочек в
 порах обоих

Вот он вслушивается в звуки
 Лебединого озера и обнаруживает

внутри никем до сих пор незаме-
чаемый таинственный крик

Вот он выходит ночью на пустую
сцену, вымеривает сапогами ее,
но пока не может найти особо от-
меченного места, где во время
адажио должно произойти его вне-
запное преобразование

Вот он, оставив все дела, ле-
тит на Оппеле через огненный Бер-
лин в оперу и обнаруживает, что
партитуру подменили

Ко мне во сне на белых цырях
Вплывает лебедь молодецкая
Я спрашиваю: Кто ты? Штирлиц?
Нет, – отвечает, – Я – Плисец-
кая! –

Нет, ты – Штирлиц! –
Нет, я – Плисецкая! –
Но ведь все это про Штирлица! –
Ну, тогда я – Штирлиц! –
Вот так-то, брат! –
Нет, я подумал, я лучше все-таки
– Плисецкая

Он на балу великосветском
Раскланивается уверенно
Онегин вот, а вот – Балконский
Ростопчина вот, вот – Оленина –
Все прекрасно

Но вот аккорд начальной лиры
И все вдруг смотрят восхищенно
На него –
А он в гестаповском мундире
Черном
Как Диадумен обнаженный

Штирлицу снится странный сон,
 что его выход, а он забыл рисунок
 танца, и все бросают косые взгляды
 на его мундир

Штирлицу снится сон, что за-
 теяна крупная интрига, чтобы вы-
 теснить его с главной партии, и
 что пружина интриги в руках Петра
 Ильича, но Штирлиц во время пред-
 принимает умелые шаги, и соперники
 обезврежены

Штирлицу снится, что балету
 грозит крупная неудача, даже
 абструкция, он делает небольшие
 вынужденные изменения в партитуре
 и все проходит блестяще

После работы он приходит
 Домой
 Расслабленный он улыбается
 Удовлетворенный
 Что-то припомнить все пытается
 Что-то тревожащее его
 Но не может
 Мундир снимает и вдруг видит
 Под ним такой же черный мундир –
 Вот-, вот что так его тревожит!
 Он долго сосредоточенно смотрит
 и что-то решает про себя, по-
 том решительно надевает пер-
 вый, верхний мундир и стреми-
 тельно куда-то уносится.



Сун Комарова

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА

(Шуревич и Крымович)

Одесская повесть

Посвящается Юрию Павловичу Шуревичу

ЭПИГРАФ.

«Безусловная неправдоподобность некоторых вещей в нашем сознании не подлежит сомнению. Мы все прекрасны, когда произносим сакраментальное: „Этого не может быть!“ Мы уподобляемся вездесущему Создателю, который собственноручно сотворил всё сущее, и уж кому как не ему знать доподлинно, что может быть на этом свете и чего ну никак быть не может.

Мы не тождественны Творцу, я этого не сказал. Подобие не есть тождество. Взять хотя бы то, что мы либо бываем суеверны, либо нет. Сакраментальное отрицание срывается с наших уст и в том, и в другом случае. То, что нормально для суеверных людей, абсолютно необъяснимо для несуеверных и наоборот. Но и тех, и этих возмущает необъяснимое. Уже в таком простейшем случае пожелавшему знать истину придется выбирать между взаимоотрицающими утверждениями. Это еще простейший случай. Сколько

философов, столько и мнений о том, чего и как не может быть.

А между тем Создатель един. Я хочу сказать, что только у Создателя и может быть основание, в силу специфичности его личного опыта, провозглашать безусловность неправдоподобности чего бы то ни было и при этом не опасаться, что такая категоричность чревата неблагоприятными последствиями, ибо для кого и для чего? Последствия угрожают лишь только существующему. (...)

Людам же, суеверным и несуетверным, философам и простодушным, в суждениях о безусловной неправдоподобности возмутительной необъяснимости не лучше ли соотноситься непосредственно с Генеральным Планом, разумеется, если авторитетное существование оно не ставится ими, в свою очередь, под сомнение...»

Джордж Беркли (1685? 86? 87?..)

ПЕРВАЯ ГЛАВА

I

На исходе декабря на город кинулись совсем уже зимние холода. Жирные одесские голуби с брюзгливым недоумением бродили вперевалку у кромки заледенелых луж, словно какие-нибудь северные утки; грязные тучи, тесно толкаясь в коричневом небе, иногда плевались кусками сырого теста и неизвестно откуда просачивался непрозрачный лазаретный свет. Одессу лихорадило. Было холодно и обидно.

По ночам я отапливал свою огромную мастерскую газовой плитой, читал преподобного Беркли и слушал доносившееся с моря монотонное пение приморского муэдзина ненастья — ууу-у — жалобно дудела маячная сирена.

Днем отправлялся в соседний гастроном за соленой тюлькой и папиросами, затем перебирал пыльные стопки своих дурацких эстампов и поджидал своих дурацких эксцентрических приятелей. Натурально, являлись незамедлительно. После язвительных, ставших за многие годы бесчувственной нашей жизни ритуальными приветствий мы приступали к ритуальному же орошению

якобы иссохшей нивы, прочно спаянные друг с другом любовью, равнодушием и непрестанным шевелением жизни, надежнейший сплав!

...Когда сопровождающая орошение иссохшей нивы беседа достигает страстной громогласности и головы сидящих за длинным столом (пред назначенным, собственно, для гравюрной работы — первоначально) сближаются, как грозовые тучи, я испытываю священный ужас перед ударом грома и вспышкой молнии: «Ради всего святого! Идиёты!» — восклицаю я, ибо все эти старые кудлатые головы, спаянные равнодушием, любовью и непрестанным шевелением жизни, дороги мне, как именно такое ее подтверждение.

Жизнь человеческая — вот оно, ее мгновенное отражение в моих глазах — фотоснимок ли, картина ли в убогой струганной раме, вот изображение участников жизни в сегодняшней стадии работы. Кудлатые старые головы, всё сплошь эксцентрические личности: с игривой ловкостью малиновых жонглеров совершают они головокружительные манипуляции сверкающими мишурой, ярко крашенными словами, запуская их в подчас невозможные комбинации, ап! — перебрасывая друг другу, виртуозность — невыразимая!

Но совсем иным был негатив, совсем иначе выглядел подмалёвок. Мысленно смывая всю эту малиновую ретушь, слой за слоем усилием памяти освобождая подвыпивших лицедеев от липучих личин, вижу я, состарившийся с течением затянувшегося фарса зритель, этот открывшийся подмалёвок. Он сделан охрой и умброй, он похож по цвету на ставшие ломкими и туманными снимки, те, что я храню какие уж годы.

Если бы дать им, докучливым лицедеям, взглянуть на эти фотографии подмалёвка, но меня страшит даже мысль о таком кощунственном акте — ибо что сказали, что почувствовали бы бедняги, запутавшиеся в своих ролях, никогда в глаза не видавшие самого сценария с его неминуемым финалом — если бы я предьявил им это?

Где — ясное море вдоль пляжа с растущими из воды игрушечными скалами, которые атаковали, блестя слегка стыдливими улыбками, трогательно-нескладные юные атлеты в развевающихся сатиновых трусах, все — с оттопыренными ушами;

над живописным обрывом одесского порта те же атлеты в

ковбойках, кепках, трехметровых шарфах, курят папиросы, мечтательно заглядывая в открытую за портом лучезарную даль;

в мастерской неуютного Грековского училища знакомые же атлеты склоняются с видом молодых физиков, сходство с которыми подчеркивают их темные, правда, халаты, над своими мольбертами, при них — безобразно толстая, но жертвенно обнаженная натурщица на подиуме;

искусственно повторенная композиция ваноговских «Едоков картофеля», скрупулезно зафиксированная объективом обстановка комнаты общежития, где вокруг покрытого листом «Правды» стола с огромной сковородой посередине сгрудились в умильном экстазе дружные участники нехитрой трапезы с жареной картошкой, я собственной персоной предводительствую за столом, ликующе воздев вилку и явно позируя фотографу.

Где — но оставим все это. Мы тут все переменялись — да, как-то не логически, вроде бы не то, совсем не то подразумевалось в нас, но диво ли?

Далеко не эксцентрические личности вершили судьбу «Той великой страны, что качала твою колыбель». О, эта незабываемая кампания по раскачиванию колыбели, внутри которой мотылялись мы все, ошалевшие от бешеной качки, в непрестанном усилии хоть как-нибудь балансировать и не вывалиться в устрашающее пространство в момент очередного сумасшедшего крена! Тогда беспомощно и обреченно устремляли вечные младенцы помутившиеся от морской болезни взоры на лица своих неумолимых нянь: тысячекратно увеличенные с помощью трафаретно-клеточного метода, эти лица грозно и неотвратно воздвигались над горизонтом, запахом свежего кадмия и ацетона усугубляя синдром удушья, и сквозь истерические спазмы заходились в беззвучном вопле вконец умотанные обитатели великой колыбели.

Где уж им — ощущение непрерывности времени, внутри которого живет душа, какое там — наполнение и развитие, и что уж за — сегодня потому, что вчера, и завтра потому, что сегодня... Цепочка жизни любого из возросших в той штормовой зыбке составлена из каких-то неимоверно чуждых друг другу звеньев, нанизанных как придется, без всякой претензии на ну хотя бы эстетическую совместимость. Вот почему сегодня я приближаюсь к двери моей мастерской на нетерпеливо визжащий звонок всякий раз с едва подавляемым ужасом: кто же там?

И только если голос, отвечающий мне снаружи, отдаленно — в лучшем случае — мне знаком и схож с голосом вчерашнего посетителя, отпираю я дверь, чтобы впустить ту фантастическую аллегория, которая выдает себя за моего, с четырнадцати лет, друга Колю, бесстыдно демонстрируя свое настоящее полное несоответствие, однако требуя, чтобы к ней адресовались насчет Коли по-прежнему. И когда дюжина таких аллегорий садится за мой стол, я принимаюсь уныло бродить по запущенным помещениям мастерской, натыкаюсь на свои подрамники и мольберты как на ненужную мебель и сквозь проём снятой с петель двери из полутемного перехода с любовью и равнодушием взираю на непрестанное шевеление своих эксцентрических приятелей, пусть — нынешних, но — тех — бывших.

II

Утром позвонила из Лондона моя супруга и вывела меня из традиционного в это время суток оцепенения дерзкими расспросами о моей одинокой жизни — продолжавшейся вот уже несколько месяцев, пока она выполняла обязанности консультанта по русской литературе в столице туманного Альбиона, настолько туманного, что каждый ее звонок производил на меня впечатление слуховой галлюцинации.

«Сонечка, это правда — ты?» — в седьмой раз спросил я, опасно отстраняя от уха свиристящую, как гремучая змея, телефонную трубку. В следующее мгновение мне показалось, что разъяренная трубка, уже совершенно по-змеиному изогнувшись, попыталась ткнуть меня свиристящим концом по уху. «Слушай! Прекрати издеваться! Тебе что, спросить больше не о чем? Алкоголик, алкаш, пропойца, с утра уже накачался? Нализался? Нагрузился? Налимонился, да?» — моя жена-филолог с возрастающим азартом подбирала все новые, все более колоритные синонимы. Да, это была таки она.

Уверившись в этом, я уже без опаски пристроил исходящую знакомым голосом трубку между плечом и ухом и, освободившейся рукой вытянув из вазы с карандашами китайский, кокетливо раззолоченный, принялся набрасывать портрет Сони — на смеющееся мягкое лицо уронил прядь волос, гибким штрихом обозначил шею и слегка затушеввал рисунок... Совсем врасплох

застал меня неожиданный вопрос-требование: «Ну, так и будешь ничего не отвечать или может быть хоть что-нибудь умное скажешь, г о п н и к ?» «Сонечка, — любовно завивая последнюю, абрисовую линию, сказал я двадцатилетней Сонечке, потешно, по-детски пахнувшей земляничным мылом, — Сонечка, милая, неужели это ты?»

Вяло обмакнув на моем плече, бедная гремучка испускала равномерные монотонные вопли отчаяния. Мне оставалось только осторожно уложить страдальцу на рычаг аппарата, проклиная себя за недоумие.

Однако, едва коснувшись рычага, трубка воспрянула и разразилась новым, но уже обычным по интенсивности звонком. Звонил некто Крымович.

«Ю-Пи, любимый, ну как поживаешь?»

Ю-Пи — прозвание, составленное из моих инициалов. Фамилярное звучание этого имени отражает то особое впечатление, которое я, очевидно, произвожу своим характером, уступчивым и взбалмошным одновременно. Дело в том, что взбалмошность я инстинктивно разыгрываю для того, чтобы хоть в малой мере скрыть безмерную свою уступчивость, впрочем, unsuccessfully, как правило. Человеку напористому ничего не стоит подвигнуть меня на сколь угодно абсурдные уступки, сопротивление будет лишь в виде шумных сцен по дороге к месту заклания.

Такой напористостью был в особенности наделен Крымович, человек с американскими какими-то манерами: усаживаясь на стул, например, он мгновенно так разбрасывал перед собой ноги, что они приобретали сходство с нацеленными в собеседника дулами орудий; устрашающие размеры его щегольских туфель наводили на мысль о необходимости предпринять что-нибудь в целях предосторожности.

В сущности Крымович был бы очень интеллигентным человеком, если бы не некоторые его свойства вроде этих вот как бы целящихся подошв.

Обратившись к подмалёвку, на месте вальяжного, играючи живущего, иронизирующего порой на грани жестокости Крымовича, время от времени навещающего меня в сопровождении всякий раз незнакомых мне, но всегда по-хорошему красивых женщин, вы увидели бы длинного — и тогда, но совсем иначе расположенного в пространстве юного грековца. Тогдашний Олесь

Крымович словно держался за воздух неловкими руками, то локти, то хрупкие кисти проваливая в его жидкой массе и иногда полностью утрачивая связь с почвой под ногами, то есть его единственной опорой оставался какой-нибудь плавучий кусок воздуха, а сам Олесь, казалось, меланхолически парил наподобие воздушного змея, потихоньку нащупывал вялыми нижними конечностями ненадежную землю.

В те времена он писал по шесть этюдов в день, прилежно вырисовывая на аккуратном куске грунтованного картона золотистый усатый трамвай, дружелюбным членистоногим выползающий из тропических зарослей (где он их отыскивал?). Сочная палитра, травяная зелень, следы школярского мастихина на поверхности невысохшего масла... И ничто в долгой фигуре Олеси, как за нежный цвет лица называли его мы, старшекурсники, зыблющейся под различными углами к ланжероновскому песчаному берегу, увенчанной цветным блюдцем тибетейки, с этюдником, свисающим с узкого плеча наподобие отвеса, не предвещало сегодняшнего Крымовича, чье рослое тело от попирающих подошв до крепко ввинченной в атмосферу макушки решительно аннексировало изрядный отрезок у пространства — устойчиво вертикально, от сих и до сих, ни больше и ни меньше; ровно столько, сколько счел нужным обладатель отменной плоти.

На его холсты (столь же бесцеремонно раскидистые в своих широких рамках) я всегда смотрю с ощущением подавленности и непонятого смущения. Воистину прав был наш летучецветный учитель, витебский магистр, замечавший где-то, что абстракционизм свел все к элементарным частицам, к материи. Крымович на крепко зацементированной одними белилами поверхности холста уверенной рукой исполина komponует ультрамарином и краплагом насмешливо открытые по цвету геометрические фигуры: «Как, мол, насчет треугольника в квадрате?» — Большой, синий, втиснувшийся в накренившийся квадрат, треугольник этот господствует на полотне, тиранически тесня фигуры помельче: всякие там стронциановые запятыя, дрожащие лиловые спиральки, острые осколки чего-то бесформенного, разгромленного и, очевидно, утратившего приоритет. Да, на этих холстах есть жизнь... Но какая деспотическая!

«А человек и не заслуживает большего. Он такой вот и есть, важно лишь уяснить конструкцию. Треугольник в квадрате, ромб в

эллипсе, розовое пятно в форме боба... Возможны варианты,» — так поясняет сам Олесь свои композиции, называемые — портретами. Впечатляют, надо думать, его холодное остроумие, та язвительная лихость, с которой этот патриций открытых цветов и наместник жестких форм заявляет: «Я художник по недоразумению,» — напугав очередную партию эффектных изображений, отбывающих за рубеж в сопровождении какого-нибудь тихого немца, клиента и поклонника мэтра. Мне же так всегда неловко, тоскливо от этих картин, впрочем, Олеся хоть не требует от меня признаний, и вообще-то он не обидчив на этот счет, кажется, ему самому это не слишком важно, ну и слава Богу!

Красивым басом Крымович выразил пожелание навестить меня и побеседовать наедине, «без этих охламонов». «Ну, так ты зайдешь. Я сейчас один — ладно, ты будешь сегодня первый охламон.»

В трубке, солидно потяжелевшей от плотного звука голоса говорящего, раздалось его увесистое «ха-ха-ха» — роковой пассаж из третьего акта. Но вдруг, прервав оперное включение, мой собеседник с изменившейся интонацией скороговоркой произнес: «У меня неприятности, Юра.»

III

«Ради Бога! Обожди! Дай же приду в себя,» — гигантская особа Крымовича, затемнившая дверной проем, вызвала у меня паническое стремление оттянуть «разговор наедине» (я не помню уже, когда в последний раз оставался вдвоем с моим приятелем, хотя видимся-то мы с ним довольно часто).

«Ты такой огромный человек, Олеся, что я должен сначала выпить. Давай сначала выпьем. Вот, осталось со вчерашнего, Буланчик приносил, а то ты такой огромный, что я не могу... Ты разбойник и давай выпьем».

Мы выпили по стакану портвейна и пощипали заскорузлые полхлеба, я почувствовал знакомое целящее тепло, и глухая боль в моей несчастной голове, неотступная с утра, наконец плавно переместилась вниз по позвоночнику, рассредоточившись по спине, где ей предстояло осесть грузною тяжестью — я надеялся — на весь день.

«Голова у меня болит. Уже меньше. Ну, говори, только не

целься в меня ножищами, вот же горе — какие у тебя ножищи.»

Крымович заговорил. Говорил он странные вещи. Я судорожно наливал себе дважды еще по полстакана и тарачился на него, как на привидение. Говорил он как раз — ни много ни мало — о привидении.

А именно: в его мастерской, в полуподвале давно расселенного, предназначенного к сносу вот уже который год дома за Пересыпью, как вам нравится — живет привидение. «Старик, ты знаешь, я не сентиментален. Я, напротив, досадно земной человек. Но оно действительно существует, говорю тебе, я давно о нем знаю, я привык уже, а среди наших охломонов ты — единственный, кому я могу решиться о нем рассказать. А, Ю-Пи, ты ведь не примешь меня за умалишота?» Я кивнул — принять за сумасшедшего отменно одетого, излучающего сияние благополучия Олесья? Как это можно! Он продолжал: «Пойми, прежде всего пойми, иначе не будешь ничего понимать дальше — у меня в мастерской действительно живет самое настоящее привидение.»

Проклятая боль ртутью поползла вверх по шесту моего позвоночника и вот уже снова давила на мой череп изнутри, знал бы я, где та пробка, чтобы дать ей вырваться наружу.

«Я, знаешь, Олесь, вроде как термометр. Вот совсем как термометр прямо.»

Большое, терпеливое лицо Крымовича висело надо мной, как лицо сиделки над бредящим больным, парализуя мою волю, смущая и буквально истязая меня своей внушительной материальностью. Понизив голос и проникновенно: «Юра. Слушай сюда. При чем термометр, я не об этом. При чем термометр к привидению, ты не понял. Я серьезно не шучу. При-ви-дение. У меня.» — «То-то и оно, что — у тебя», — простонал я в ответ.

Я ощущал сильную усталость. Мой дух был сломлен. Больше я не мог сопротивляться. «Ну хорошо, хорошо. Я все понял. Ты очень понятно говорил. И — чего ты хочешь от меня, говори уже!»

Он хотел от меня, чтобы я присмотрел за его привидением — временно, пока он, Крымович, будет в отъезде. У него неприятности, заболела мать в Полесье, она там совсем одна, ему надо срочно, сегодня же — ехать к матери.

А привидение (но все это было просто кошмаром, я спал, да, спал, конечно же, а Крымович мне снился, а перед этим снилось, что звонила жена из Лондона; ох, вот так уже было спокойнее) — а

привидение, объяснял снившийся мне Крымович, не может оставаться одно, оно привыкло к общению, оно совсем безобидное — вопреки расхожему мнению о привидениях. «Поверь мне, Юра, это чушь, мое, наоборот, такое беззащитное,» — было бы просто бессердечно оставить его слоняться по брошенному дому, мало ли что может понадобиться и вообще дом в любой день могут наконец начать сносить.

«Старик, ты знаешь, что я не сентиментален. Но это факт — оно не может вот так оставаться, это опасно. В нем так много человеческого...»

Тут я все-таки взорвался:

«А почему именно я, Олеся? Ну почему именно ко мне? Вот почему ты не пойдешь к кому-нибудь другому, почему-то вы все давите именно на меня, мне прямо хочется знать в конце концов, или я — самый лучший?»

«Отвечу тебе. За всех не знаю, но за себя скажу. Давай рассуждать здраво: у тебя, Ю-Пи, жена в Лондоне. Раз. Ты, значит, один и ночуешь в мастерской. А мое привидение, как у них заведено там, ну, ты меня понимаешь, оно бывает только по ночам приблизительно до полчетвертого. А ты, кстати, сам полуночник. Два. Ну и главное, дружище, ты гуманный человек и я тебе могу довериться, ты уж его не обидишь. Не обидишь ведь, нет?» Кошмар продолжался. Я упрямылся: «А у меня свои планы, я хочу отдохнуть, может быть?»

«Юра, у меня мать серьезно больна. И черт возьми, ты же терпишь у себя в мастерской к о г о у г о д н о, ну как тебе не совестно отказывать беззащитному существу, не ожидал от тебя; я ведь ему уже пообещал, оно уже н а с т р о и л о с ь ! »

Мне все чудилась какая-то насмешка, какой-то неуловимый подвох в его рокочущем голосе, впрочем, я пребывал в полубморочном состоянии и не двинулся с места, когда раздался звонок у двери. Крымович встал, отпер и посторонился, пропуская целый выводок эксцентрических личностей, с виду столь монолитный, словно они так и ходят весь день гуськом по городу, да и ночью спят на широкой кровати все вместе, не переставая дополнять друг друга даже во сне.

Впустив последнего, Крымович красноречиво посмотрел на меня, потом иронически — на вошедших, демонстрируя на своевременно явившемся примере справедливость своего последнего

аргумента. Затем прощально поднял руку и проговорил, внушительным своим голосом перекрывая приветственный гомон вновь прибывших: «Юра, так мы договорились. Ты, конечно, еще подумай и если будешь против, позвони. До шести я у себя.» Подцепил под локоть аллегория Коли, кивнул на прощание со странной усмешкой и вышел с Колей на улицу.

IV

В оцепенении я смотрел на дверь, за которой исчез Крымович. Это несколько не смутило уменьшившийся на Колю выводок эксцентриков. Традиционная привилегия, оставленная за мной: вступать в контакт либо не вступать, не опасаясь, что меня станут особенно тормозить.

«На Ю-Пи опять накатило». — заметил мимоходом Козьмин, эскулаповским взором заглянув в мои неподвижные глаза. «Не трогайте никто Ю-Пи. Его Олесь расстроил. Наверное, опять говорил про знаковый принцип изображения». — «Про это он любит.» — «Зато Ю-Пи не любит». — «Ю-Пи символист». — «Кто, Ю-Пи? Ой, я тебя умоляю. Ю-Пи китаец». — «А что, китаец у вас не символист?» — «Я не хочу казаться умным, но, по-моему, оба вы не правы. Ю-Пи не китаец, но и китаец не символист». — «Что вы говорите! А кто же тогда символист? Малевич символист?» — «За Малевича я вам скажу, что Малевич...» — «... знаковая природа символа...» — «Ой, не надо». — «Давай нальем». — «А Ю-Пи?» — «А Ю-Пи символист и китаец, ему не обязательно». — «Я одно твердо знаю, что Крымович — не Малевич». — «Ну да, он круче». — «А пусть тогда Ю-Пи почитает нам вслух. Что-нибудь из Ду-Фу («Либо из Ли-Бо») — чтобы мы эстетично выпивали». — «Не трогайте вы Ю-Пи. Ю-Пи вам ничего сейчас не почитает. Видите, с и д и т ? »

Они пили вино и балагурили. Колыбель раскачивалась уютно, вино хорошо при морской болезни. «Куда ж нам плыть?»

«Нет, ты мне докажи, что Ю-Пи не китаец». — «Кто, мне?» — «Витя, Витя, они там все сговорились, знай. Но будь же хитрее, ты им дай два портрета, я знаю — на выбор, из ЦК — и все будет твое. И ты будешь с ними». — «Да я не могу сейчас, пойми. Я говорил с Ленинградом, там уже все отдали. Такое мое счастье: на мне все кончается». — «Супрематизм? Бред. Расскажи это моей бабушке». — «...Она из оформительского цеха. Ну, ты знаешь. Такая.. Глаза

со-онные!» — «Ну налей, налей». — «На тебе Ли-Бо. Ты хотел Ли-Бо? На тебе Ли-Бо:

*В конце концов, для чего
Я прибыл, мой друг, сюда?
В безделье слоняюсь здесь,
И некому мне помочь.*

*Без друга и без семьи
Скучаю, как никогда,
А сосны скрипят, скрипят
По зимнему, день и ночь.*

*Одесское пью вино,
Но пей его хоть весь день —
Не опьяняет оно:
Слабое, милый друг...*

— Дальше забыл.

«Стой, почему одесское?» — «Потому, мой друг, что я не пил Луского». — «Понял. Налей».

«Что же это было? Что произошло? А что — сейчас? Тоже сон? Или тогда был сон...» Передо мной, впрочем, лежал на столешнице мой давешний набросок, уже тонированный влажным тиюиндиго — кто-то опрокинул стакан портвейна прямо на Сонечкину улыбку...

Интересно, похожи лондонские туманы на наши?

ВТОРАЯ ГЛАВА

I

Накатило...Откатило...Прилив. Отлив. Были и ушли беспечные. Меланхолический натюрморт на столе — неподвижно-темные гильзы пустых бутылок, два стакана вповалку, судорожно смятая пачка из-под «Беломора», зияющая выщипанной внутри пещерой половина круглого хлеба и рассыпанный повсюду пепел — все вместе воплощает опустошающее одиночество моих ночей.

Моя мастерская расположена в нижнем этаже шумного одесского дома, ко мне ведет отдельный вход. Там, наверху, мне никогда не приходилось бывать. Пересекая наш уютный двор, куда круто спускаются несколько скрипучих деревянных лестниц, тря-

ющихся где-то под крышей в лабиринте галерей и переходов среди победно расползающихся по старым стенам виноградных лоз я, вот уже двадцать лет обитающий здесь, каждый раз сутулюсь и ускоряю шаг. Двор так и не принял меня, я здесь отщепенец, каждому знакомый в лицо, но не принятый при дворе и потому не окликаемый приветливо со всех этажей, как всякая другая поистине придворная персона. Мне кажется, я более чужой в этом микромире, чем любая из высокомерных одесских кошек, удачно мимикрирующая пестротой своих боков под испещренные солнечными и теневыми пятнами выщербленные булыжники Двора. Должно быть, у Двора были причины отторгнуть вместе со мной изрядную часть первого этажа заодно с удивительным секретом дома — внутренним двориком, просторным глубоким колодцем, куда легко можно заглянуть из любого окна в окружающих дворик стенах, однако невозможно попасть иначе, чем пройдя через мою студию. Таким образом я — непризнанный при общем большом Дворе, безраздельно царю в моем собственном маленьком. Надо ли говорить, что я тем не менее не решаюсь оставаться там подолгу, а моим посетителям настоятельно не рекомендуется пользоваться необыкновенно уютной площадкой для курения или просто безобидной прогулки.

Окна жильцов начинаются на уровне высокого второго этажа, в жаркие летние дни они все распахнуты и мой дворик с утра до вечера наполнен голосами людей, пением из их приемников, смехом или плачем их детей, всей этой музыкой мирного быта. Звуки падают на булыжное дно колодца, бродят по закоулкам моего дворика, забредают через застекленные двери ко мне в студию, и я все время нахожусь в самом сердце, в центре непрестанно шевелящейся жизни; я скрываюсь внутри нее, хотя и отстранен от участия официально.

Моя супруга, со свойственным ей милым упрямством и отважным тяготением к вызову и противостоянию, в первые годы часто сушила свои рыжеватые тонкие волосы в самом центре этого солнечного патио. Я ставил в студии мольберт и писал ее трогательную в своем иллюзорном одиночестве фигурку с сигаретой и книгой, в покосившемся полосатом шезлонге, окруженную кадочками с фикусами и кактусами, которые Соня разводила тогда, погруженную в жаркие волны густого валерного воздуха,

золотистой патокой колыхавшиеся в колодце — фигурка Сони казалась особенно хрупкой в массе этого плотного воздуха среди щербатых стен песчаного цвета, словно какая-нибудь яркая вещица, упавшая с борта проходившего судна и затонувшая в лагуне.

Однако впоследствии Соня прекратила свои вылазки во дворик, молча сдалась, обозначив свою капитуляцию исчезновением из него фикусов, шезлонга, старого треснувшего трюмо, банок с компотами из абрикосов — с помощью всех этих вещей бедняжка пыталась обжить доставшееся нам дополнительно к студии жизненное пространство. Но то ли одиночество ее во время солнечных ванн в патио было слишком ощутимо иллюзорно, то ли с годами пристрастие моей жены к неременному противостоянию ослабело — очевидно, и то и другое вместе; так что маленькая сцена опустела, покинутая единственной актрисой, которая так и не сумела убедить скрывавшихся в застекленных ложах зрителей в уместности своего присутствия на этой сцене. Очень уж неудобна была диспозиция: публика вечно смотрела на актрису сверху вниз, что, естественно, мешало ей быть органичной.

II

Второй раз за этот день — было уже около полуночи — раздался непрерывный международный звонок. «Юрик, — сказала Соня, — ну как ты? Я тебя хочу поздравить с Рождеством. Тут в Лондоне Рождество справляют, красиво так! А ты и не знал, что рождественская ночь, а? Вот послушай-ка, — затем была недолгая пауза, она с кем-то говорила, а еще я слышал далекий смех, звон смеха, праздничный шум; наконец, раздалось пение: «Сайлент найт! О -оли найт!» — пели англичане растроганными голосами, а Соня, видимо, по очереди подносила каждому трубку телефона, словно микрофон, так что я прослушал рождественский гимн в чересчур оригинальной аранжировке. «Ну, как?» — спросила потом Соня (англичане все еще пели). «Это чудесно, моя Сонечка, это — удивительно! Подумать только — Рождество; а у нас, знаешь, просто зима да и все тут». «Кстати, Юра, ты там еще не мерзнешь?» «Сонечка, детка, нет! Туманы стоят, но еще можно в берете». — «Юрик, но ведь уже снег, наверное?» — «Снег? Ах, ну да. Снег. Уже был снег». — «Да что ты говоришь! Неужели снег?! — как будто не

она только что предположила этот снег. — Но ведь тогда нельзя — в берете! Слышишь, алё!» — «Алё». — эхом отозвался я. «Какой берет, если снег! Ты сам подумай своей головой: снег — и берет! Чтобы ты завтра же одел шапку». — «Сонетка, детка, так ведь снег — он уже стаял, он, понимаешь, выпадет и сразу тает, туман, понимаешь ли». — «Ты не надо спорить. И вообще, я тебе тут новую шапку купила. меховую». — «Шапку? — удивился я. — В Лондоне?» — «А что, в Лондоне нельзя купить шапку?» — «Да что ты, Сонечка. Шапку — в Лондоне. Берет — в Одессе». — «Что это ты плетешь опять? Ах, да что это я. Ты же просто пьян, конечно».

Мне хотелось потрогать мою жену за руку. Мне хотелось посоветоваться с ней. Реальность сегодняшнего случая с Крымовичем, как, впрочем, и реальность самого сегодняшнего дня... Да и всех этих туманных, тоскливо-коричневых дней. Единственной вещью, в реальности которой я не мог сомневаться, был сейчас ее все еще детский, несмотря на возраст и дробную профессорскую дикцию с нажимом на твердые согласные и вибрацией на «р», голос.

«Отвечай, ты пьян? — Да, ты пьян». — мой ответ явно не имел значения.

Но не мог же я прямо так вот, ни с того ни с сего, спросить ее, невидимую обладательницу реального голоса — если бы еще я мог оказаться сию минуту рядом с ней, а так, взять и спросить Одесса-Лондон: «Как по-твоему, дорогая, привидения сегодня еще бывают?»

«Так что же ты там замолк? Ну, спроси что-нибудь, только что-нибудь разумное, чтобы я могла поверить, что ты не пьян, как сегодня утром, проклятый!»

«Да, Сонечка. Я как раз хотел у тебя спросить... Только не знаю, как ты это поймешь... Не хочу тебя сердить, мой ангел, но только это очень для меня важно.»

«Ю, ну спрашивай.» Я выдержал секундную паузу, к концу которой уже понял, что совершаю очередное безумство — о, быть понятым! Собственной женой, стародавним приятелем, старожительницей твоего двора, диктором центрального телевидения — что за дерзкие притязания! Доли секунды я еще отчаянно балансировал на краю обрыва, куда привели меня моя дерзость и неосмотрительность, но затем последний камень выскользнул из-под ноги, кувырком поскакал в пропасть, и туда же с запоздалым сожалением, охваченный раскаянием и скорбью,

устремился и я:

«Сонечка, ты действительно звонила мне сегодня утром?» «Ну конечно. Merry Christmas, дурачок.» Последовали короткие гудки. Лондон отключился.

III

Весь день после разговора с Крымовичем я был как опрокинутый. Да, уж опрокинуть Олесь умел. Может быть, именно поэтому я выпил как раз меньше обычного. Последняя неудачная беседа с Соней окончательно расстроила мои нервы, я чувствовал себя глубоко несчастным. «Ну почему, почему вы все так несправедливы? — патетически восклицал я, слоняясь по мастерской и адресуясь к Соне, Крымовичу и Бог знает к кому еще, — Почему вы никогда меня не понимаете? Зачем, зачем вы все меня запутали? Запутали и бросили, вот же какие побрякушки,» — со стороны могло показаться, что я общаюсь с невидимыми духами, находясь в экстатическом трансе, но не было никого со стороны. Я был абсолютно один.

В конце концов у меня сделалось головокружение. Со мной бывает в последние годы так: я словно бы вижу миниатюрное землетрясение, предметы перед глазами принимаются мелко и часто вибрировать, я в панике хватаюсь за стену, но это все шутки моего собственного зрения. Оно вдруг отказывается четко транслировать утомительные картины действительности, и вот раскрашенная оболочка вещей начинает колыхаться, как если бы вещи, подобно линяющим животным, пытались сбросить с себя старую кожу. Однако я никогда не находил в себе сил досмотреть до конца, как они это сделают — настолько жуткое это ощущение. Ничто на свете не может заставить меня перебороть импульсивную реакцию — поскорей закрыть глаза, нырнуть в спасительную темноту, куда ужасные вибрации освобождающегося существа доходят лишь в виде тревожных толчков крови в жилах и гулкого шума в ушах. Я поступил так и на этот раз, обхватив руками гудящую голову; минуту — не больше — длилось мое пребывание в полуневедении, затем по наступившей в голове тишине я понял, что метаморфоза завершилась, и медленно открыл глаза.

Передо мной был все тот же непроницаемый под своей оболочкой мир: только что бешено колебавшиеся стены неподвиж-

ны, вещи снова обманывают мое зрение или зрение обманывает меня. Припадок нистагматизма прошел. «Зачем? Зачем?.. — подавленно прошептал я. — Зачем вы все меня путаете?» На сегодня с меня было более чем довольно.

Я прошел по комнатам; поворачивая выключатели, погрузил в темноту мастерскую и под последней, печально-вопрошающе выгнувшей шею лампой растянулся на диване, пахнущем вывалившимся в опилках медведем. Мне уже хотелось спать. Я сегодня так ничего и не узнал о жизни. Все так же загадочны ее течение и закон. В руках у меня шуршал страницами затрепанный, легкий от старости томик Беркли. Я читал «О принципах человеческого знания», не преуспев в оном давеча.

«Поэтому, как я не в состоянии видеть или осязать нечто без действительного ощущения вещи, точно так же я не в состоянии помыслить ощущаемые вещь или предмет независимо от их ощущения или восприятия. На самом деле объект и ощущение одно и то же (*are the same thing*) и не могут поэтому быть абстрагируемы один от другого... Некоторые истины столь близки и очевидны для ума, что стоит лишь открыть глаза, чтобы их увидеть. Такой я считаю ту важную истину, что весь небесный хор и все убранство земли, одним словом, все вещи, составляющие Вселенную, не имеют существования вне духа...»

Беркли — поэт духовного знания. Мне же, сколь ни противно, ни докучно всегда было брести сквозь набитое событиями время и заставленное бездушными вещами, как пыльный чулан, пространство, сколь ни досаждало мне все эти годы ощущение, что реальность осязаемых предметов обманчива, а жизнь никак не может предстать цепью связанных между собой событий, напротив — бывшее представляется небылым и сущее призрачным — я все-таки не умел ничего иного, кроме как пробираться ошупью. Внутри предметов, чьи изнурительно конкретные поверхности жадным взором утомленных глаз я ошупывал, внутри людей с их наглухо закрытыми лицами и упорным пристрастием к вечному доигрыванию некоего постылого образа я подозревал (но не мог прозреть) скрытую от глаз под личиной косной материи запредельную глубину, озаренную, однако, ровным и немеркнувшим светом — это «я» вещи или существа, «я», без познания которого нет истинной связи между моим собственным «я» и миром вещей и существ. Не узрев этого внутреннего света мира, мое «я» обречено, очевидно,

на одиночество — и в этом причина одиночества моего. Ибо духовное мое зрение ослабело в борьбе с вещественностью.

Моя жена Соня была для меня единственным источником уверенности в правоте моего подозрения. В ней, случайной соседке на палубе прогулочного катера, что курсирует в летние месяцы вдоль пляжей, описывая по сверкающей поверхности моря плавные дуги, концами упирающиеся в дощатые пристани — так вот в ней, на лету подхватившей сорванную встречным ветром ярко-красную косынку и в момент этого незабываемо грациозного, чаячьего движения обернувшейся смеющимся свежим лицом ко мне (я уныло тулился у белых перил со своим неопрятным этюдником) — мне выпало вдруг с восхищением увидеть — что?..

Главную картину из картин пестрой жизни, яркую — но не оттого только, что на лицо смеющейся Сони проливали весь свой перламутровый свет синее небо и зеленое море, и не нежно-рубиновый рефлекс от улетающей косынки сделал это чудо: ее лицо было озарено странным, ей самой неведомым, но присущим — для меня несомненно — внутренним светом; то был свет радости, новой жизни, глубокий свет мира.

Свет внутри вещей открылся мне лишь на мгновение, навсегда поссорив меня с органами чувств, изнурительно отвергавшими достоверность мимолетного ощущения и сообщавшими только: темное, плотное, холодное, тяжелое... Или наоборот. Освещенное или окутанное тенью, испещренное бликами по выпуклым поверхностям формы, круглое или угловатое, но не допускающее света внутрь и не испускающее его изнутри. Я сражался с поверхностями вещей и масками лиц, доводя до зеркальной точности изображение на холсте, Соня пугалась моих натюрмортов, говоря, что ей чудится скрип написанного мною стула и шорох накинутой на него драпировки. Но конечный, тот последний миг, когда я осознавал, что работа моя завершена и не нуждается уж во мне иначе, чем в качестве зрителя — не приносил удовлетворения. «Inner light»*, ускользавший от моего зрения, не отражался и на поверхности холста, пусть даже «светоносного», как говорили потом.

Но это был все тот же свет проливаемый. Он не изливался изнутри.

* Внутренний свет (англ.). — Примеч. авт.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

I

В одном смысле может быть действительно сказано, что люди верят в существование материи, то есть они поступают так, как будто непосредственная причина их ощущений, которая ежеминутно оказывает на них действие и так близко к ним находится, есть неосязающее и немыслящее сущее. Но чтобы они связывали с этим словом ясный смысл и могли вывести из него определенное умозрительное мнение — этого я не способен представить себе.

Это не единственный случай, когда люди обманывают себя, воображая, что верят положениям, которые они часто слышат, хотя в действительности они не имеют никакого смысла. Тем более нелеп мой случай: окончательно сознавать иллюзорность бесспорного существования материи — и не быть в силах освободиться из мертвящих объятий чудовищной химеры, ничего не позволяющей ощущать, кроме непобедимой очевидности, неотвратимой, как глухая и тем не менее зыбко ненадежная стена. А между тем мне так близка и ясна мысль преподобного Беркли о материи: «Она ни действует, ни воспринимает, ни воспринимается, потому что именно это только и подразумевается, когда говорится, что она есть косная, неосязающая, неведомая субстанция, каковое определение состоит из одних отрицаний, за исключением относительного понятия о ней как об основе или носителе. Но в таком случае должно заметить, что она совсем ничего не несет, и я желал бы, чтобы подумали, насколько близко подходит это описание к описанию несуществующего (*non-entity*)»...

«Merry Christmas», — пожелала мне моя лондонская супруга и действительно, было уже почти двенадцать ночи. Мне пришлось в голову выпить вина, которое еще оставалось на дне одной из бутылок в соседней комнате. Я захлопнул книгу и, поднявшись с продавленного дивана, пахнущего медведем в опилках, поставил Беркли на полку, где он мирно соседствовал с Аристотелем и Шопенгауэром, а они в свою очередь с Гегелем и Лейбницем и так далее. Моему несчастному телу предстояло сейчас пересечь небольшое помещение, — без окон, своего рода склад для инструментов, подрамников, рулонов холста и бумаги — чтобы попасть в соседнюю с «диванной» комнату, где находилось вино. Для

того, чтобы пройти через склад, требуется несколько секунд. Я, однако, замешкался там, чтобы захватить с собой окаменелую тараньку, участницу натюрмортной постановки. Таранька лежала на холщовой салфетке рядом с янтарными луковицами и гипсовым бюстиком Ильича-II, всё это вместе находилось на придвинутом вплотную к стене ящике; последнее время я почему-то часто работал в этой комнате, хотя она и была самой захлавленной и неудобной — а может быть, именно поэтому? Натюрморт я так и не закончил, утратив к нему интерес (о проклятое бессилье!), посему тараньку можно было забрать.

Изъяв из постановки тараньку, я повернулся спиной к стене и, кажется, три раза шагнул по направлению к выходу. Говорю обо всем так подробно потому, что именно тогда-то и услышал этот звук — тихо, но явственно за моей спиной раздалось: «Ох-м».

Я совершил пируэт — от стены меня отделяли три шага — таранька хрустнула у меня в руке — у стены, робко вжимаясь в нее, смущенно и приветливо мне кивая, стоял человек.

«А, — сказал я. — Так это вот, уже, и вы...»

Что, собственно, я мог еще сказать?

II

Фигура, представшая передо мной, удивляла своей несообразностью. Могу сказать, что никогда еще не встречался мне человек, до такой степени забавный. Но тем меньше походил он на призрак.

На вид ему было около семидесяти. Очень кругленький, мягкий, как ватная кукла, он как-то по-детски стоял на своих коротких столбиках-ножках, наступая одним стоптанным ботинком на носок другого. Он сильно сутулился, втягивая по-черепашьи свою лысую голову со вьющимися над ушами кудряшками в пухлые плечи. Его манеры — перетаптываться на месте, часто мигать обоими глазами и щуриться сквозь стекла маленьких очков, необыкновенно вежливая улыбка на подвижной физиономии — вся его невероятно потешная внешность производила впечатление столь трогательное, что испуг, вызванный внезапным явлением, улетучился в мгновение ока и я проникся глубочайшей симпатией к явившемуся мне существу.

Однако ситуация была все-таки ощутимо неловкой, и

некоторое время мы оба безмолвствовали, смущенно оглядывая друг друга. Бурные, но неизъяснимые чувства обрушивались на меня, как увесистые волны на легкую пробку, так что во время этой паузы я приплясывал от возбуждения, на что мой гость взирал с дружелюбной робостью.

Наконец мне удалось обрести относительное равновесие, правда, слегка приплясывать я еще продолжал. Мне не терпелось услышать его голос. Я начал:

«Вы, пожалуйста, не придавайте значения, это я от радости. Я всегда так приплясываю в радости.»

«Да-да, — прозвучало в ответ, — я вас понимаю. Только вот... боюсь, или я не помешал?» Голос у него был тоже потешный и напоминал голос артиста Яншина.

«Ну что вы! — воскликнул я. — Я страшно рад — и потом, меня же предупредили.»

«Да-да,» — повторил он и учтиво поклонился. (Этот поклон почему-то несказанно умилил меня и я снова буйно загарцевал, после чего изобразил ответный поклон, затейливо, на манер цирковой лошади, делающей приветствие).

«Абрамович Яков Яковлевич.»

«Шуревич Юрий Павлович. Но лучше просто — Юра.»

«Очень приятно.»

«Я извиняюсь, — сказал я — вы не обидетесь? Я, видите ли, человек эксцентрический... Мне всё никак не верится и поэтому — нельзя ли вас тихонечко потрогать?»

Он согласился с готовностью и, приблизившись, я благоговейно пощупал потертый рукав его поношенного коротковатого пиджачка, с наслаждением уверившись в реальности Якова Яковлевича. От того кроткого смирения, с которым он отнесся к моей выходке, я уже совершенно невыразимо растрогался и очень долго мял и тискал его покорную теплую руку. При этом я сделал еще одно удивительное открытие: от моего призрачного гостя ощутимо пахло нафталином. Одной пуговицы на пиджаке у него не доставало, на ее месте болтался обрывочек зеленой нитки.

III

В первую ночь нашего знакомства Яков Яковлевич был очень застенчив, он вообще имел очень застенчивый, почти робкий

характер. Боюсь, что я уж слишком усердно проявлял гостеприимство, чем, должно быть, усугублял его смущение. Мы осмотрели вместе все закоулки мастерской, а в завершение экскурсии я вытащил его в патио, где он изрядно-таки продрог. Но патио ему понравилось. «Вы знаете, — прошептал он, запрокинув круглое свое лицо в темный квадрат ночного неба — я ведь, собственно, бывал в этом доме у сапожника — был тут один пьющий сапожник во дворе под лестницей. Но ведь и не думал тогда... Не знал. Какая удобная вещь!»

«А главное, заметьте, Яков Яковлевич, выход сюда только от меня». — «Да-да».

У него была суперодесская интонация, этак: «Ви зна-а-ете?!»

Потом мы пили чай — первое наше чаепитие! У Якова Яковлевича обнаружилась привычка осторожно трогать стоящие на столе предметы, словно пересчитывая; он всё водил коротким пальцем с обкусанным ногтем по ободку чайника или сахарницы. Я горько жалел, что не запасся накануне хотя бы пряниками. Яков Яковлевич объяснил мне, что, собственно, в пище он не нуждается «с некоторых пор», как он выразился. Однако он и прежде любил чаёвничать, «а теперь уже, когда так редко получается... Я ведь, понимаете сами, нечасто бываю в обществе с тех пор, как меня не стало...» О, как я понимал его!

«Вы не стесняйтесь, Яков Яковлевич, — уговаривал я, — вы мне скажите, что вы любите». — «Да вот уж... Я знаю, не хочется вас беспокоить пустяками». — «Пустяками!! Боже ты мой, пустяками! Если б кому сказать, из каких пустяков я составляю свою жизнь!» Тут он бросил на меня из-под припотевших стекол маленьких очков вопросительный быстрый взгляд, однако ничего не стал спрашивать. Я продолжал настаивать, требовал, и наконец он уступил: «Ну, знаете — если только пойдете в магазин зачем-то, а не так, чтобы специально, ну — действительно — негорелых пряников. Вы как раз за пряники заговорили, так я, именно, их очень люблю...» — «Куплю непременно, и побольше!» — с клятвенным жаром пообещал я.

Удивительно и приятно было общаться с Яковом Яковлевичем. Поначалу, правда, мне никак не удавалось — видимо, в силу вполне объяснимого радостного возбуждения первых часов знакомства с ним — осознать до конца всю небывалость ситуации. Как, каким

образом выпала мне счастливая возможность вдруг подняться над постылой очевидностью, что, впрочем, свершилось поразительно просто. Да и сам облик чудесного существа, вторгшегося рождественской ночью в мою чудацкую, не вспомню уже с каких давних пор расстроенную и разболтанную жизнь, нисколько не вязался с представлениями о потустороннем мире и его предполагаемых обитателях. Ничего сверхъестественного не было в обаятельной одесской вежливости, с которой Яков Яковлевич обращался ко мне: «Можно у вас спросить?» Никакой такой загробной бледности или прозрачности — напротив, пухлая румяность щек придавала ему вид цветущий. Украдкой разглядывая своего гостя, я едва ли мог допустить, что он — призрак, явившийся из мертвых. Из мертвых? Да это же чушь наичистейшая! — в нем было столько живости, нет, безусловно, он был живой и, как говорилось в сказке о малютке Алисе — «живее некуда».

Я ни на мгновение не сомневался, что всё происходящее — явь, а не сон или там бред. Сквозь застекленный выход в патио мы увидели, как начал падать тихий рождественский снег, он полетел густо и мягко, мы оба молча залюбовались его грациозным движением, удовольствие от созерцания прелестной картины ночного снега было глубоким и ясным; все мои чувства стали тоже ясными, уже давно мне не приходилось переживать такой ясности, тем более в присутствии кого-либо. «Таки это Рождество», — произнес просветленно Яков Яковлевич.

«Дорогой вы мой! — обратился я к нему, охваченный порывом нежности. — Дорогой вы мой, я, конечно же, человек излишне патетический, но это — ничего... Вы не придавайте значения, я искренне рад и хочу для вас что-нибудь сделать... Вы хотите, я вам станцюю? Я вовсе не имею в виду, что я очень как-то необыкновенно танцую... Но просто мне для вас хотелось бы станцевать».

Мое предложение, казалось, не очень удивило Якова Яковлевича. Впрочем, у него уже была сегодня возможность заметить мое пристрастие к интенсивным телодвижениям. И я затанцевал, вдохновленный его безмолвным, но явным согласием.

Я всегда танцую, когда бываю счастлив. Это мое спонтанное и необъяснимое свойство, странное, особенно если учесть, что я лишен чувства ритма и музыкального слуха. И вообще я ужасно

неловкий и не менее, чем Яков Яковлевич, застенчивый человек. Но у меня бывает порой просто неодолимая потребность танцевать и приплясывать: я танцевал перед лучшими своими картинами, перед согласившейся за меня выйти очаровательной Соней, а однажды я с ужасом обнаружил себя на Дерibasовской в центре приятно развлеченной субботней толпы, одобрительно побуждавшей меня «давать дальше» отплясывать перед крошечной коричневой девочкой в белом переднике и с большими бантами в курчавых негритянских косичках — в Одессе встречаются такие дети, у нас портовый город и общительные люди.

И в эту незабываемую ночь я довольно долго танцевал для своего гостя, восхищенно и сочувственно наблюдавшего мои порывистые ассамблеи и даже некие подобию фуээтте; я навсегда запомню его улыбающееся румяное лицо, судя по тому, как приветливо он кивал головой все время, пока я кружился перед ним по комнате, мой танец — синтез меланхолического вальса, хмельной камаринской и игривого рэгги — произвел на него приятное впечатление.

Я эффектно завершил свое выступление красноречивой пантомимой в египетско-индийской пластике и застыл в рыцарской позе балетного Альберта, символизирующей всю полноту моих пробудившихся чувств — левая рука прижата к сердцу, а правая с указующим перстом воздета к потолку.

«Таки да, — повторил Яков Яковлевич, — это Рождество», — и вознаградил меня щедрыми рукоплесканиями.

IV

Необычный способ, которым Яков Яковлевич воспользовался для того, чтобы оказаться у меня в мастерской, он снова — теперь уже на моих глазах — применил, когда настала пора ему уходить. Было около 4 часов утра. Выплясавшись, я успокоился и еще раз заварил чай. Мы мирно беседовали в тишине, прихлебывая из стаканов и поглядывая на снег, который к этому времени висел за стеклом, как колышущийся белый занавес.

Мой друг уже казался слегка утомленным. Я заметил, что он немного побледнел. Это обеспокоило меня, и я принялся внимательно приглядываться к нему.

Каково же мне было обнаружить, что Яков Яковлевич становится бледней с каждой минутой! Нет, это уже не было естественным следствием усталости. Очертания его фигуры постепенно расплывались, как если бы я видел его сквозь запотевшее стекло, в то время как остальные предметы я продолжал видеть четко! Теперь его взгляд сделался рассеянно-грустен, странная задумчивость омрачила круглое лицо, а голос, и прежде негромкий, звучал все тише и слабей.

Острая печаль пронзила меня, когда сквозь обтянутое тесным пиджачком плечо старика я увидел смутные очертания выгнутой спинки стула, на котором он сидел. «Яков Яковлевич! — вскричал я, не в силах скрыть испуг. — Что это с вами такое? Вы буквально таете на глазах!»

Яков Яковлевич вздохнул — и я едва расслышал этот вздох. Его слова прозвучали чуть внятно — голос прерывался и шелестел, словно относимый ветром прочь от меня:

«Простите, Юра. Мне пора.»

Он медленно поднялся — он уже был совсем прозрачный, я различал сквозь него затаившиеся неподвижные предметы — потрогал сахарницу почти невидимым пальцем и еще менее внятно произнес: «Мне очень понравилось с вами... Если позволите... Вы не заняты чем-то завтра?..»

«Я буду вас ждать», — сказал я, у меня тоже прерывался голос. Мне казалось, что я таю вместе с бедным Яковом Яковлевичем.

Он кивнул мне туманной головой и направился к стене. Я не мог заставить себя подняться с места. Впервые я видел этот фокус. Потом он стал привычным, как и многое другое в чудесном существовании Якова Яковлевича и, замечая перемену в его облике, я просто огорчился: «Как? Уже пора?» И провожал его до ближайшей стены, которая, непроходимая для меня, для его непостижимой субстанции была не препятствием, а все равно что дверью, через которую он легко возвращался в свой таинственный мир. Но в тот, первый раз я был потрясен и сокрушен увиденным; наконец-то я вполне осознал призрачную сущность Якова Яковлевича, который, на ходу утрачивая материальность, достиг стены, учтиво поклонился, кажется, улыбнулся мне на прощание и исчез.

V

...Мое угловатое тело озябло на продавленном диване, очнулось и вяло зашевелилось, пытаясь натянуть на себя пыльный плед, в который, однако, оно и без того было плотно укатано. Покрытый сонной испариной лоб мучительно леденил утренний сквозняк. Я с трудом открыл глаза. Медленно, неохотно, с брезгливым недоумением душа моя возвращалась в неуютное свое вместилище.

Залитая холодным светом комната, ряды молчаливых книг. Пестрые квадраты моих давнишних постелей по стенам неуместной перенасыщенностью цветов грубо дисгармонировали с аскетичной суровостью палитры зимнего утра - и я с ленивым раздражением отвел от них взгляд. За окном по-прежнему грациозно порхали сухие хлопья снега.

Я вспомнил события минувшей ночи. Было ли это сном? Вот так, завернувшись в пыльный плед, я лежал в этой выстуженной комнате, а волшебный фонарь ночного сознания морочил, казал живые картинки, хитросплетая грезящему простофиле сладостную историю о рождественских чудесах из его же собственных скрытых вождений?

Вдруг по моему телу пробежала дрожь — я вскочил со взвизгнувшего дивана и опрометью бросился в соседнюю комнату — ту, что без окон. В полутьме нашарил выключатель, осветил заваленное рулонами холста и подрамниками помещение и в углу — маразматическую натюрмортную постановку. В полубезумном оцепенении я ревизовал составляющие ее элементы. То были: четыре луковицы, раскатившиеся по холщовой салфетке, и напоминающий угрюмым карнизом бровей питекантропа Ильич-II. Чуть поодаль на полу валялась с переломленным хребтом таранька.

Я поднял обломки тараньки и сходил еще взглянуть на два стакана с недопитым чаем. С ними также все оказалось в порядке. На меня снизошло блаженное умиротворение.

Прозвенел телефон. «Сонечка!» — вскричал я, отшвыривая многострадальную тараньку, и кинулся к аппарату.

«Имейте в виду, — прошипел сифилитическим голосом мой

сосед сверху, отставной майор, невероятно желчный и ядовитый человек с таким острым взглядом, что об него можно было порезаться, — я вас предупреждаю. Развели тут, ты ж понимаешь. Днем у вас беспрерывно толкаются люди, я же вижу. (Как будто он мог видеть через пол?) Но ночью — НОЧЬЮ! — вы или будете спать, или с вами что-то будет!» Это прозвучало бы как заботливое предупреждение об опасных последствиях недосыпания, если бы не кровожадные интонации майора.

Некоторое время он угрожающе безмолвствовал, давая мне возможность как следует содрогнуться, осознав, что будет, а затем конкретизировал угрозу с предельным лаконизмом:

«Р-раз — и всё!»

И, действительно, повесил трубку. Я не успел ему принести извинения за ночное беспокойство, причиненное, несомненно, моим танцеванием. Да и не нуждался яростный майор в моем ответе.

Я вышел в патио и заплясал по первым сугробам, ногами утопая в свежем снегу, наслаждаясь забытым за год восхитительным ощущением морозной чистоты холодного воздуха и — вновь возродившимся в душе чувством безраздельного обладания как этим заснеженным двориком, так и своей собственной жизнью.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

I

«Дорогой Олень! Ты представить себе не можешь, нет, ты просто не можешь себе этого представить — писал я Крымовичу в Полесье (адрес его матери я разузнал, сообщившись с его бывшей женой) — как я тебе благодарен. Безмерна моя благодарность.

Я надеюсь, что здоровье твоей матушки поправилось. Всё у вас должно быть хорошо. Не беспокойся, драгоценный Олень, поручение твое я выполняю с радостью. Отношения мои с нашим общим теперь другом складываются прекрасно. Он несколько мне не в тягость, напротив, я счастлив принимать его у себя. Ты мне сделал большую честь, хотя я уверен, что ему сейчас тебя

недостает. В его возрасте и необыкновенном положении нелегко, должно быть, привыкать к новым людям — и к новым стенам. Однако ведь твои обстоятельства вынудили тебя покинуть его на время. Я же, милый Олесь, со своей стороны стремлюсь делать все возможное, чтобы он чувствовал себя как дома. Но тебе известно, до чего я неловкий и нелепый человек. Меня порой прямо-таки заносит, я потом сокрушаюсь, но запоздало. Ведь сколько же такта и осмотрительности нужно проявлять, чтобы ненароком не травмировать это эфирное существо! Подумать только, он ведь чистый дух! Я отношусь к нему трепетно.

Олесь, я должен перед тобой искренне повиниться. По какому праву я думал о тебе — нет, не то чтобы дурно, боже упаси! Но и не так благожелательно, как ты этого заслуживаешь. Я, глупец, считал тебя человеком черствым и эгоистичным. Как же я мог в своем низком высокомерии не разглядеть, что ты, Олесь, обладаешь драгоценными свойствами души, ведь был ты единственным среди нас, кто знал глубочайшую тайну бытия, а веденье это — я теперь по себе знаю — отчуждает от глупой суеты обыденной общей жизни. Я был несправедлив, Олесь. Прости. Поверь, мне теперь очень стыдно.

Я отныне буду особенно внимателен к людям. Я понял, как приблизительны и поверхностны могут быть мои суждения о них. А ведь люди — это мир.

Вот, например, наш друг. История его проста и удивительна. Ты согласишься со мной, Олесь, в том, что он прожил самую обыкновенную, негромкую жизнь. Да, он всегда был одинок, не имел ни жены, ни детей, так что после его ухода — тому назад тридцать лет — не осталось никого среди живущих, кто поминал бы его. Скромный часовщик, неприметно обитавший в своей комнатухе на Молдаванке, покупавший себе летом арбузы и сам соливший огурчики к зиме, год за годом лечил свой холостяцкий радикулит и потихоньку старился, судьба его не баловала примечательными событиями, и вот его жизнь угасла наконец, не оставив сколько-нибудь приметного следа. Ну, так что же? И много ли стоит такая жизнь — скажет злой циник — но не мы с тобой, милый Олесь.

Что за прекрасное творение божье — человек. Грешен он либо смирен, ведает сам о себе или покорно бредет по любой дороге,

что лежит перед ним, вспыхивает ли ослепительно шутихой на карнавале жизни, бедной ничтожностью ли своею уподобляется придорожной траве — равно у всякого человека бессмертна и вечна душа его. Хрупкий сосуд с неугасимо сияющим сокровищем духа — вот что такое наша плоть, неказистая и болезненная.

Личная же, единственная сущность человека столь неистребима, что и после того, как совершает он перелет в удаленные, нефизические сферы бытия — он все по-прежнему являет собой тот же характер, те же черты человечности, которыми отметил его творец, неповторимый в каждом из своих бесчисленных созданий.

И мне отраднo сознавать, Олесь, что у человека — вот у тебя, у меня, да хоть у Буланчика или еще у кого — тоже есть благодатная способность к творению своей собственной вселенной. Разнообразное искусство приближает нас к совершенному Творцу — вот еще что открылось мне, ты понимаешь, сорок девять лет я живу, а все не знал до сей поры необходимой истины о своем ремесле — не знал подлинно. Не затем только пишу, чтобы выразить себя, но творческая сила высшего духа побуждает меня и Его мир должен я учиться видеть Его глазами, чтобы быть Ему подобным в мире, создаваемом мною.

Здесь опасаясь присущей тебе глубокой ироничности относительно неуклюжего, может быть, стиля этого письма. Я как всегда более эмоционален, чем это приличествует. Но ты поймешь меня в главном, любимый Олесь: итак, благодаря нашему другу, явление которого в мою забуксовавшую жизнь я воспринимаю как благое откровение и безусловно самое важное событие в ней, я преодолел, кажется, затянувшийся на многие годы кризис и снова пишу. Тебе ведь известно, что я давно не мог работать, чувствуя, как непостижимая преграда вырастает между мною и холстом, а слабость и трусливое бесплодие разъедают мою живопись и мою жизнь. Все выставки последних лет состояли из старых работ, да я и не выставялся уже давно. Меня считали вздорным неврастеником, который сам себя запугал и запутал; я же обвинял других в том, что они запутали и истощили меня. Проклиная свое бессилие, я бросал начатую работу, вдруг охваченный невыразимым отчаяньем. Меня всё ещё называли колористом и толковали о свете на моих холстах. Однако я давно не видел

настоящего света и цвета, да и прежде — видел ли? Потому что мне кажется — это было не то, что нужно. Мои картины были беспомощными подобиями объектов мира, именно остервенение дальтоника, измозолившего глаза о непроницаемые поверхности вещей, придавало им, картинам, ту анатомическую мертвую достоверность, которая соблазняла эстетов и бесила меня самого.

Ты знаешь, Олесь, какая у меня была тоска все эти годы. Вот мука-то! И сколько же я пил, боже ты мой господи! Это же — уму непостижимо.

Теперь все изменилось. Не пить русскому человеку невозможно, куда не сыщется дело.

Присутствие нашего друга (а он регулярно, то есть еженочно меня посещает) решительно обновило мою жизнь и вдохновило меня, я словно встряхнулся от долгого сна, пишу одержимо и благоговейно. Достаточно мне только взглянуть на него, так просто и удивительно существующего и столь неистребимо оригинального в своем таинственном эфирном бытии — представь себе, Олесь, ты ведь тоже по нему скучаешь, наверное: вот он лакомится своими любимыми пряниками, по-еврейски деликатно прихлебывая чай (у него есть теперь своя чашка, я принес ему из дому); нахмурившись, сосредоточенно удаляет «противные крошки», просыпавшиеся ему на брюки; а потом на цыпочках, тебе знакома его прелестная манера «не мешать», ходит вдоль стен, разглядывая своими любопытными глазками гравюры и пастели, тихонечко шуршит страницами журналов и альбомов с репродукциями, одобрительно или осуждающе гримасничая при этом — да, так мне достаточно взглянуть на него и встретить его сконфуженную славную улыбку, полную чудаковатости и доброты — как я испытываю светлое чувство, несказанно радостное и святое.

Иногда он стоит за моим плечом и при этом несколько не мешает своей благожелательной осторожной близостью, и наблюдает за тем, как я работаю. Это тоже очень богатые и глубокие моменты для меня. Видишь ли, Олесь, его простодушный взгляд словно соединяется в это время с моим — не всегда простодушным и бесхитростным — и вообще, та сверхсконцентрированная духовность, которая составляет его зримый и осязаемый образ, является для меня сильнейшим источником энергии и освобожденности, и я легко отрываюсь от постылого натурализма,

который ел меня поедом столько лет! Я словно бы парю в воздухе, телепортированный наполняющей меня энергией, понимаешь?

Я раздобыл ему ермолку, чтобы его порадовать. Ермолка преловко сидит у него на макушке, тогда как с моей она сваливается. Мне кажется еще, что неплохо было бы достать ему Талмуд. Я договорился с Филином, ты знаешь его способности, он не понял, зачем мне, но обещал попробовать. Пока что я принес в мастерскую приемник, к радости нашего друга, и он слушает иногда радио «СВОБОДА», все эти передачи еврейской службы.

Выражение настоящей углубленности и сопричастности к таинствам веры великого народа появляется на его лице. Я особенно восхищаюсь им, когда он слушает чтения Торы или проповеди своих рабби. Какая чистая душа! Олесь, и мы тоже должны стремиться к глубокому постижению Создателя. Художник — вот главный опыт всей моей жизни — не может творить без веры и осознания божественности мира. Без этого все его творения бесцветны и слепы, ужасающе безжизненны.

Неимоверный абсурд нагло вторгся в жизнь несчастной нашей страны. Бестрепетные куртизаны жестоко насилуют человека, глумясь над его бессмертностью и беспомощностью. Да что я буду тебе объяснять. Это знаем все мы. С содроганием оглядываясь на минувшие годы, я вспоминаю, как в юности в кровь драл пальцы, пытаюсь выкарабкаться из бездны нашего каменного невежества, как потом — ты знаешь это время, друг — безнадежно захлебнулся вместе со всем народом в едкой патоке дьявольской лжи. Неверие и недоверие поразили нас, как мор какой-то. Время морило и морочило нас. Мы были художниками. В это время и в этой невероятной стране.

Сейчас, Олесь, уже скоро полночь. Я поджидаю нашего чудесного ночного друга и потому прощаюсь с тобой наконец. Пойду поставлю чайник, проветрю тут, накурил, пока писал.

Сердце у меня прыгает от радости, словно я влюблен и жду свидания. Еще несколько минут — и я почувствую, что он рядом. Что-то неуловимо изменится вокруг, воздух наполнится невнятным шепотом таинственных голосов, несколько раз мигнет, потрескивая, лампа, и я снова переживу чудо, как в детстве, как во сне. Предчувствуя это близкое чудо возликовавшей душой, я призыву его:

«Яков Яковлевич! Выходите, пожалуйста!»

А посему, милый Олень, прощаюсь с тобой и еще раз — безмерно благодарен тебе. Желаю тебе удачи и верю в твою удачу. Будем поджидать твоего возвращения. Твой Шуревич.»

II

Теперь Одесса, красивая моя зимняя Одесса. Такой зимы не было давно. Может быть, такой зимы не было вообще никогда. В это время года в Одессе обычно сыро и слякотно, и дует такой пронизывающий ветер с выстуженного моря, что прохожие ошпаренно подпрыгивают при каждом его порыве, будто надеясь увернуться или ускакать. Однако ветер непременно настигнет человека и крепко искушает его ледяными зубами.

Но не так было в эту зиму, счастливую для меня. В эту зиму в Одессе был снег. Он все шел и шел, и все не уходил, и оставался, и превращал притихший город в снежное море, второе возле настоящего; по снежному плыли степенные троллейбусы, выполняя свой навигационный маршрут при полном штиле среди недвижных снеговых валов. От снега было светло на улицах, удивленные одесситы тщетно пытались скрывать удивление, путешествуя среди ставших вдруг совсем неузнаваемыми из-за своей торжественной белизны скверов и зданий с видом смущенных провинциальных туристов.

Кое-где снегопад создавал проблемы. Памятник Дюку де Ришелье стоял такой заваленный, что, хотя для самого Дюка ничего страшного в этом, возможно, не было, все же он выглядел неприлично. Ибо видеть на месте маленького элегантного Дюка снежную бабу было уже слишком для одесситов. Некоторые появились с лопатами у подножия погребенного символа. Дюка расчищали весело, веселились больше, чем расчищали, на следующее утро он, впрочем, был уже тот — снова снеговик на постаменте с нахальным голубем на голове. Около него сокрушенно стояла тетя и говорила прохожим: «Нет, вы такое видели?»

Как-то вечером я шел к себе, по дороге на пустынной улице мне попала овощная палатка, освещенная тусклой лампочкой. В палатке одиноко орудовал пустыми ящиками тщедушный грузчик в телогрейке и великоватой ушанке, у которой одно ухо уныло

болталось, а другое зато настороженно, по-собачьи торчало вертикально вверх.

Я приостановился, привлеченный светящимся гротом в темной пелене густо летящего снега, который мягко мерцал, когда пересекал освещенное пространство. Грузчик в своей люмпен-униформе копошился и тюкал ящиками, не подозревая, внутри какого живописного мерцания он находится. Я уже решил тронуться дальше своим путем, но тут у палатки возник, выступив из зыбкой стены снега, высокий и пригожий негр, одетый по иронии судьбы в такую же точно телогрейку и ушанку, причем одно ухо у нее также торчало вверх. Я остановился опять, пораженный комичностью совпадения.

Негр держал в руке пустую авоську и с приветливым любопытством заглянул в палатку, где грузчик тюкал пустой тарой. Тот выпрямился и вопросительно установился на негра.

«Помидор есть?» — теплым тропическим голосом спросил негр.

Торчащее ухо грузчиковой ушанки сначала возмущенно застыло, а затем не менее возмущенно запрыгало, как индикатор охвативших его чувств.

«Ты что, чудака, не видишь, что снег?» — подбоченясь, грузчик указал незадачливому негру на сугроб возле палатки.

Торчащее на голове у негра ухо выражало учтивое внимание, характерное для студентов-иностранцев.

«В Африке тебе помидор», — безапелляционным тоном заключил грузчик и махнул рукой в предполагаемом южном направлении. «Понял?» — «Понял», — не совсем уверенно подтвердил негр и, изящно развернувшись, снова вошел в снежную колышущуюся стену.

«Ну, люди!» — ехидно сказал грузчик и принялся опять грюкать ящиками, а я отправился восвояси, беззвучно смеясь. Вокруг меня в воздухе шуршали и роились суетливыми насекомыми сотни снежинок, и от прохладной их суеты в темноте было очень уютно. Я нес в кармане кулек со свежими пряниками и два апельсина.

III

В юности я одержимо хотел в Питер. Вдоль и поперек, и насквозь изучив закоулки родного города, все эти путаные дворики

с абрикосами, котятами, голубятнями, утопающие в зелени склоны Хаджибейского богатого края, душные коммунальные лабиринты вдоль Дерibasовской и инфраструктуры Молдаванки я любил ровной деспотической любовью, чувствуя себя одинаково дома на Большом Фонтане и за Пересыпью. Душистым этим, пыльным раем наскучив, я решил, что несерьезно жить в Одессе, а серьезно — только там, в пугающе прекрасном и великом городе-мире, чья исполинская холодная краса гипнотизировала мое воображение, обещая явить мне, когда я наконец буду там, настоящее искусство для полного моего им обладания.

Закончив Греково училище, я счастливо поступил в Академию, снял комнату на Васильевском острове у одинокой пожилой дамы по имени Инесса Борисовна и стал осматривать город и осматриваться в новой питерской жизни.

Первые признаки душевной подавленности появились спустя всего лишь неделю после начала учебного года. Я досадовал на свою провинциальность и с упорством лунатика блуждал по марсианским просторам самого каменного из всех городов на свете, по его гигантским проспектам, уходящим за горизонт в неумолимо правильной перспективе, в его гулко гудящих десятикратно проходных дворах, содрогаясь и не любя. Магнетизм Петербурга ужасал меня.

С наступлением зимы я совсем забросил занятия. Бессонница и бронхит продолжались всю зиму, и в конце февраля за мной приехала мама. «Да шо ты так переживаешь, было бы из чего,» — сказала она, собирая мои вещи по комнате, в которой я безвыходно провел много недель, не только завесив кусками холста окна, но еще и — для пущей надежности изоляции — водрузив на подоконниках щиты из грунтованного картона. «Он тебе надо, тот Ленинград. И ты глупый мальчик, ехал бы сразу назад, так нет — устроил себе вырванные годы. Чего ради?» Я молчал ея домашнюю колбасу и квашеные синие, с дурной жадностью заглатывая каждый кусок привычной — наконец-то — пряной и чесночной одесской еды. Потом плакал капризно, мыча и тыча пальцем в сторону окна, с которого мама сняла кусок картона. «Да на тебе твой картон. Как ты хочешь, чтобы я собиралась в темноте?»

Мама пошла прощаться с Инессой Борисовной, вызвавшей ее телеграммой. Я приблизился к темному зеркалу, вцепился обеими

руками в раму и принялся мучительно гримасничать, кривя и вытягивая непослушные губы, тараща глаза. Желтое, немое, не мое лицо в зеркале ходило ходуном, сами собой поочередно прыгали то брови, то щеки, вообще голова иногда самопроизвольно дергалась. Но все, чего я мог добиться, был хриплый удушенный вой, хорошо хоть удушенный. Вернувшаяся мама сказала: «Прекрати. В Одессе уже будешь разговаривать.» Я обессиленно и печально отошел от зеркала.

Разговаривать я начал уже в поезде, на второй день пути. Осмотрев при утреннем свете свою постель, я нашел ее слишком уж малоаппетитной. Я снял замызганную простыню, отправился с ней к тучной громогласной проводнице и недовольно сказал ей: «Мамочка, смотрите, какая у меня простыня серая.» — «Сейчас дам тебе зеленую,» — не моргнув глазом, ответствовала она.

Злые чары Питера рассеялись.

Всю жизнь я вспоминал великолепный этот город, что так жестоко отверг меня с моими лихорадочными мечтаниями, оставив на их месте зияющую жутковатую пустоту, с сожалением. Больше я не ездил туда, раз и навсегда признав свое поражение. Но мне все-таки кажется, что какая-то часть моего существа, отделившись от меня, так и осталась там; время от времени я вижу питерский сон: призрачный, уставший, как старик, я влачусь по Александрo-Невскому мосту, цепляясь пудовым этюдником за решетку перил, по направлению к Лавре. Все вокруг меня огромно: алюминиевая сумрачная Нева, грозное небо с гиперболическими тучами, похожими на скульптуры Мура, сам мост и отчужденно высящиеся на дальнем берегу здания. Я же кажусь себе неправдоподобно крошечным и боюсь, что уменьшусь до полного исчезновения, не добравшись до конца этого ужасного моста...

В моем случае попытка жить в Питере закончилась довольно счастливо, спасибо Инессе Борисовне, не слишком поздно обратившей внимание на мое странное отшельничество и немоту. Вообще-то она была очень отстраненная дама, истонченная телом, как засушенный цветок, утративший яркость красок, но сохранивший изысканность формы. Ее реакции были сведены к минимуму, в уголках бледных губ застыла безучастная брезгливость, а на увядшей изящной шее тускло светилась нитка жемчуга. Моя мама со свойственной ей парадоксальной точностью окрестила Инессу Борисовну Баронессой Кипарисовной.

В каких холодных просторах теперь обитает ее истонченный дух? Я узнал, что моя ленинградская хозяйка погибла на Литейном проспекте вскоре после моего отъезда: ее сбил неосторожный водитель такси, когда она сомнамбулически, как всегда, шествовала через дорогу. Мой приятель, снимавший у нее после меня мою комнату, рассказывал, что таксист только слегка задел ее, просто сбил с ног, он ехал нескоро, никаких увечий у нее не было. Однако когда прохожие кинулись к ней, чтобы помочь встать на ноги, она не дышала. Я подумал, что дело тут было не в испуге, якобы мгновенно вызвавшем остановку сердца. Просто Инесса Кипарисовна воспользовалась уместным предлогом, чтобы ускользнуть из мира, на который слишком давно смотрела забывшимся мне взглядом: холодно отрицающим.

Мой приятель протянул в питерских просторах около двух лет и тоже вернулся в Одессу — но не к себе на шестую Фонтана, а прежде на Слободку в психбольницу, откуда вышел в прескверном, разумеется, настроении, сварливый и полный отвращения ко всему на свете.

Равно и другие мои приятели, так или иначе удалявшиеся в этот роковой для одесситов город, в той или иной форме подвергались его необъяснимо разрушительному влиянию и впадали в различные депрессивные состояния. Не знаю уж, чем это объяснить. Не только ведь очевидной разностью климата и неприятно неполным для южан циклом сезонов: сначала 4 месяца осень, затем 4 месяца зима, затем столько же весна и снова — осень. И никакого лета. Никаких виноградных джунглей и ароматной жары.

И все-таки я всегда любил оказавшийся для меня неприступным город, оставивший в себе заблудившуюся среди мостов и дождей частичку моей души. Иначе вместиться в Питер мне, стало быть, просто — не судьба.

ПЯТАЯ ГЛАВА

I

Крымович отсутствовал более месяца. В середине января случилось радостное событие: освобожден и приехал Пшеничка. Я

не видел его десять лет. Он был безусловно самый талантливый из нашего выпуска, жил и писал в каком-то невысказанном единении тревожного экспрессионизма и неистовой, открытой, нежной, словно бы детской романтичности. Поверхности его картин всегда казались еще непросохшими: сквозь какую-то зыблущуюся, говорящую, вечно текущую воду виделись там полуузнаваемые, полуневедомые формы, причудливо преображенные преломлением, омытые, неглубоко затонувшие, как растения и камни на дне мелкого лесного ручья...

Господи, как же стремились его истребить партийные боцманы от искусства — монолитная банда, фатальным террором которой мы все охвачены. Тощий, вертлявый, со скоморошьим лицом, поросшим ключьями соломенно-желтой бороды, Пшеничка был таким легкомысленным и неосторожным гением, что заманить его в любую западню было делом нетрудным. Неистребимое любопытство и беспримерная самоуверенность не раз сослужили ему дурную службу. Ему просто на роду было написано вечно путаться под ногами у гигантов нескладного мира сего, дерзить и досаждать им, за это у него были выбиты передние зубы, после чего он приобрел совсем уже непристойный вид и весьма ему соответствовал. Кончилось это, конечно же, тем, что после очередной скандальной истории его таки арестовали.

Дело в том, что совсем обезумевший Пшеничка смастерил из папье-маше полуметрового, а в остальном совершенно натурального отца всех народов с ужасающе знакомой усатой улыбкой и зажатой в красном кулаке трубкой, которая дымилась, вынес его в воскресный день в людный Горсад и поставил прямо на газон у тротуара. Отдыхающие трудящиеся и просто воскресный люд всех мастей, издали заметив ярко раскрашенную куклу, подходили посмотреть. Им приходилось низко склоняться, чтобы заглянуть в раздумянное лицо идола, и садиться на корточки, чтобы прочесть маленькую белую табличку у его ног: «Я всегда с вами. Скульптура А. Пшенички. Материал: Генералиссимус.»

Генералиссимус вынудил у прохожих около сотни поклонов, нашлись желающие сфотографироваться с Генералиссимусом, таким безобидным в своей миниатюрности, с дымящейся трубкой в руке. Через полчаса, отчаянно мигая синим оком, примчалось желтое авто, выпорхнувший из него десяток милиционеров

разогнал толпу, но недалеко, потому что толпа спросила: «А что, нельзя уже гулять?» — и вопрос этот был неоспоримо невинен.

Посоветовавшись с кем-то по рации, быкоподобный старшина начал осторожно подходить к виновнику происшествия. Ражее лицо старшины выражало благоговейное опасение — не взорвется ли Генералиссимус при попытке захвата. Чувствовалось, что миниатюрной безобидности Генералиссимуса многоопытный служака не очень доверяет. И не напрасно, потому что опасение подтвердилось: коварный Пшеничка, предвидя, что его акция завершится подобным образом, снабдил свой кунштюк дьявольским устройством. Он никому не открывал секрета, управлялось ли оно телепатически или Генералиссимус был предварительно проинструктирован, но как только старшина притронулся к нему (попытавшись в диком холуйстве увлечь его с газона под локоток), тот вдруг вспыхнул в мгновение ока и пышный сноп веселых трескучих искр уничтожил скандальный артефакт вместе с сапогами, трубкой и усатой улыбкой на глазах у гогочущей толпы гуляющих себе одесситов и вытянувшихся по стойке «смирно» во время этого индийского самосожжения стражей порядка.

Переживший нервный шок старшина потерял необходимое самообладание и стал так душераздирающе материться, что беспрерывно твякающая рация у него в руке озадаченно замолкла. Убедившись, что от Генералиссимуса остались только неидентифицируемые ошметки папье-маше на обгорелой траве, старшина разъяренно плюнул прямо на дымящиеся останки того, кто всегда с нами, и вернулся в желтое авто.

Пшеничку взяли в тот же вечер. Был он пьян, одет в вышитую сорочку, звучно „спивал“ и писал что-то красивое и ни на что на свете не похожее. Мстительные милиционеры уничтожили все, что находилось в крошечной мансарде высоко под крышей старого дома, и это самое печальное во всей этой истории; а самого хозяина просто скатили вниз по шести пролетам винтовой лестницы.

За годы своего отсутствия он изменился. Стал еще более тощим, совсем уже явно криворотым, глаза же, и прежде светлые, окончательно выцвели и наводили на мысль, что вот их обладатель слишком много смеялся и оттого сейчас взор его слезливо-туманен. Однако метафизическую природу своего «я» Пшеничка доказал уже в первый вечер, проведенный мною в его компании.

Мы разговаривали с ним о годах, прожитых каждым из нас в своем заключении, и о новых временах, вернувших ему формальную свободу. «Ты помнишь моего Генералиссимуса? — мечтательно-нежно спросил он, прикрывая полупрозрачной пленкой петушиных век свои лицедейские глаза. — Какой был фестиваль!»

«Ну, ты спроси еще, Пшеничка, или я помню самого себя. Это же наша жизнь — все эти вот фестивали.»

«А что, Ю-Пи, не прав я был тогда? Пусть они меня не поняли, как я хотел, а все-таки — вот сейчас. Не того ли еще Генералиссимуса они нам опять суют? Я, наверное, снова его сделаю.» «Что ты, что ты, что ты! — замахал я руками, как будто хотел загасить вновь разгоравшийся в голове моего несчастного друга опасный пламень. — «Да, сделаю. Посмотрел я тут на новые эти игры... Надо им опять его выставлять и — чтоб он горел!»

Потом мы смотрели мои работы, сделанные за этот месяц, я выносил и расставлял вдоль стен еще неподсохшие холсты, на которых дышала и двигалась моя очнувшаяся жизнь, и с волнением ждал, чем закончится его молчание.

«Это всё, Саша.»

«Юра, я очень хочу, чтобы это было ещё не всё.»

«Ну, — воскликнул я, обнимая Пшеничку: ведь откуда вернулся! — Тогда я тебе давай станцюю!»

II

В эту ночь, проводив Пшеничку, я дожидался Якова Яковлевича с особенным нетерпением. Наконец настала полночь и бесценный миг его прибытия. На мой всегдашний призыв из соседней комнаты донеслось: «А я уже вышел, думал, вы читаете или что...»

Он стоял у стены на том же месте, где я впервые увидел его. Забавная плотная фигурка, тесноватый пиджачок, смущенный и грустный взгляд из-под стекол маленьких очков. Я взял его за влажную теплую руку, вспоминая свое первое прикосновение к этой руке и сказал: «Какая это драгоценность — вы.»

И в эту ночь я начал писать портрет Якова Яковлевича. Компонуя рисунок на холсте, делая первую прописку, с нежностью глядя на старика, уютно обмякшего в кресле под матово сияющей

лампой и с тревогой ожидая момента, когда очертания его тела начнут размываться и лицо побледнеет, словно от усталости, я думал о Якове Яковлевиче, о Пшеничке, О Крымовиче, Соне и себе — о нашей прошлой и теперешней жизни на этой земле и о той, что, конечно, будет потом.

«Весь небесный хор и всё убранство земли», — повторял я; печаль и ликование согласно пели в моей душе, и простая картина — старик в кресле, в неярком отсвете лампы, среди теней, теснящих этот тихий свет; Талмуд, который он задумчиво листает — была полна для меня глубокого и таинственного смысла. Я знал, что моя любовь к призрачному Якову Яковлевичу возросла из всей отчаянной, усталой и все-таки неугасшей за эти горькие десятилетия, значит — неисцелимой любви к живому Творителю, к его миру, людям и городам людей. Яков Яковлевич оторвался от чтения, поднял побледневшее уже лицо и неотрывно смотрел на меня, безмолвно и неотрывно. Я чувствовал, как горячие слезы обжигают мои усталые глаза, как они льются легко и неудержимо, и то ли от этих слез, то ли оттого, что время уже торопило своего верного труженика и было ему пора, я все более смутно видел Якова Яковлевича.

Но, покуда еще различал его ставшие скорбными и величественными черты, я продолжал писать, не осушая чистых слез печали и ликования этой ночи.

III

Телефон визжал, как зарезанный. Я с трудом пробирался сквозь густой и крепкий сон, сквозь тесный лес образов, обступивших меня, добросовестно искавшего путь к надрывающемуся телефону. Наконец я все-таки поднялся и, шатаюсь, подошел к нему. «Слушаю». — «Алло, говорит Крымович». — «Олесь! — окончательно проснувшись, закричал я. — Что ты? Где ты? Ты приехал?» — «Я дома, Юра». — «Олесь, милый ты мой! Как я рад, дружище! А как матушка?» — «С матушкой все в порядке, — усмехнулся Крымович, — представь себе, она была здорова. Но соскучилась старая — я у нее не был года два уже. Вот и заманила хитростью. Ну, история известная. Я, однако, рад был с нею повидаться, да и дом пора было поправить, совсем завалился. Отдохнул и поработал». — «Ну, слава Богу, — сказал я. — А когда ты зайдешь?» «Зайду, Ю-Пи. Ты

спал сейчас, что ли?» — «Спал, Олеся. Знаешь ведь, он бывает по ночам. Но это я так, не подумай только, что жалуюсь. Я же всю жизнь по ночам не спал, для меня это нормально...»

«Слушай, старик, что за бред за такой? — перебил Крымович. — Ты о ком говоришь сейчас? И о ком ты мне писал в своем малахольном послании?» Я озадаченно помолчал. «Не понимаю я, Олеся». — «Так и я тебя не понимаю, старина. Ты что, серьезно, привидения по ночам видишь или что там у тебя за нечисть в мастерской завелась?» — «Обожди. Обожди-ка, — у меня вдруг страшно заболела голова, стало трудно говорить, перехватило дыхание. — Ты ведь сам... Ну что ты, Олеся. Ты вспомни, ты же сам меня просил перед отъездом. Ты сказал — тупая боль плясала у меня в висках, колошматила в лоб изнутри, — ты сказал, чтобы Яков Яковлевич...» — «Вот что, Ю-Пи, — твердо проговорил Крымович. — Постарайся выслушать меня внимательно. Никакого привидения не существует. Нет твоего Якова Яковлевича, понял? Я — пошутил. Ну, разыграть тебя решил по-дружески, пусть, думаю, подождет чудак. Я же тебя хорошо знаю, ты же как старый ребенок. Но, старик, ты уж совсем...Того...Развел, понимаешь, целый роман. Нельзя, старик. Не надо так, старина. Ты уже не мальчик даже. Детство-то кончилось когда еще.»

Я молча прижимал трубку к уху — так, что даже ухо болело. На столе передо мной стояла ваза с карандашами. Слушая отчетливые фразы Крымовича, я зачем-то стал их пересчитывать. Сбился со счета. Начал опять. — «Ты меня слышишь, Ю-Пи? Прием, прием!» — «Прием». — пробормотал я. — «Ну вот. А то я с тобой разговариваю, а ты начинаешь молчать — хорошо это, Юра?»

Карандаши в вазе мелко завибрировали. Это был приступ. Продолжая слушать, я через силу смотрел на эти пляшущие карандаши. Сознание мое меркло, сотрясаемое, но я все шире раскрывал глаза, уже зная, что увижу: это был ослепительный белый свет, в тысячу раз белее снега, всеозаряющая вспышка истины, поглотившая все контуры и звуки. Где-то в глубине ее бесконечной белизны, был — живой и вечный — Яков Яковлевич.

Я очнулся в болезненном оцепенении. Поднялся с пола, с удивлением оглядывая привычно неподвижные предметы. Перезвонил Крымовичу. «Так ты зайдешь вечером?» — «Да». — коротко ответил он.

Вечером перед его приходом я решил повидать Пшеничку.

Вышел на улицу в свирепую кусающуюся метель, под голубыми фонарями Пушкинской улицы пробирался в сугробах — вот же небывалая зима! С трудом одолел шесть крутых пролетов лестницы в темной утробе углового дома, по которым 10 лет назад, ломая ребра, катился вниз Пшеничка. Позвонил в глиняный колокольчик у его двери. Когда Пшеничка впустил меня, я увидел, что стены мастерской он снова чисто побелил и она стала похожа на маленькую хатку.

Торжественный Пшеничка в нарядно вышитой сорочке клеил нового Генералиссимуса. «Этот еще лучше будет, — любовно поглаживая меченое чело Генералиссимуса, пообещал он. Его водянистые глаза глядели лукаво. — Я им покажу общество «Память». Я им тоже напомню». Под одним глазом у него висело темное полукружие. «Понимаешь, объяснял тут одному, что в Одессе не идут старые хохмы. Нес всякую околесицу про еврейский вопрос. Злокачественный малый. Я ему объясняю, что, мол, Малевич и Марк Шагал... А он их по матери. Ну, я назвал его призраком коммунизма и с ним, натурально, подрался. Клею вот Генералиссимуса.»

Мы решили выставить Пшеничкину и мою живопись вместе с Генералиссимусом в конце марта, я уже давно не выставял работ по причине их отсутствия, Пшеничка — по причине отсутствия самого себя. «Мне сегодня тяжело на душе, Саша. Какое-то, знаешь, несчастье предчувствую, — признался я, уходя. — Повидал вот тебя и рад, что ты работаешь. Но скажи, отчего это: за самые простые, за ясные, как свет, вещи так долго надо биться, всю жизнь — седина в голову — бьешься ты, и я, хотя я человек, конечно, внутренний, но тоже — бьюсь». — «А это я тебе не скажу, Юра. Я и сам очень часто удивляюсь. Может быть, это не такие уж простые вещи?»

IV ДУЭЛЬ

«Итак, Ю-Пи, ты утверждаешь, что он существует». «Я тебе гарантирую, Олесь, что ты его сейчас увидишь». «А скажи, как мне можно увидеть то, чего нет?» «Достаточно увидеть, чтобы убедиться, что есть». «Чудак. Всегда ты был чудак. Всегда ты ходил по опасной дороге, вижу я теперь, куда она тебя завела. Я не знал, что

ты такой сумасшедший, но давно видел, что ты на опасном пути». «Не знаю, почему этот путь опасный. Я тебе, кажется, писал, что благодаря ему я снова пишу». «Черт! Юра! Да очнись, ты же еще не в психушке! Благодаря кому? Ему? Его же нет!» «Он есть, и ты его увидишь. Что бы ты не говорил сейчас, Олесь, ты сам прекрасно знаешь, что он есть. Может быть ты просто, извини, ревнуешь...» «Юра, как же мне тебе доказать, что я пошутил тогда — чтоб меня убило на месте!» «Это ты сейчас шутишь, Олесь. И я не знаю, зачем так зло. Смотри сюда, — с этими словами я повернул к нему мольберт с законченным накануне портретом Якова Яковлевича. — Что скажешь на это?!»

Крымович долго смотрел на портрет. «Это очень сильная живопись, Ю-Пи. Это...Это — он?» «Господи ты Боже мой, ну а кто же еще? И какое тебе еще нужно доказательство, что он — существует?» «Слушай. Если он и существует, то только в твоём воображении, безумная твоя голова».

«Ах, оставь этих бредней. Что же, по-твоему, это меняет? Ты ведь тоже существуешь в моем воображении, ведь правда?» «Я?! В твоём воображении?!» «Разумеется. И всё существует в моем воображении, что бы то ни было. Потому что как только я перестаю воображать, для меня всё — исчезает. Даже и я сам.»

«Ты как будто с луны упал, Ю-Пи. Ты же взрослый человек. неужели тебе непонятна разница между реальностью и твоим представлением о ней?»

«Непонятна.» «Поздравляю. И сожалею... Духи, говоришь.»

«Я говорю — дух, Олесь, все мы и всё вокруг нас — порождение Духа. Сама жизнь, знаешь ли, не что иное, как воплощенный Дух.» «Бог, что ли, Юра?» «Бог.»

«Бога, Юра, нет. Бог — это как раз твое воображение и воображение подобных тебе экстатических натур. Вы существуете в материальном мире со дня рождения и до дня смерти. Но реальность и смертность материи слишком страшны для вас, вот вы в своей слабости и творите себе параллельный мир, который населяете вечным Духом и куда по завершению естественного пути намереваетесь переселиться благополучно. Вот твой Бог и вот твой Дух.»

Крымович решительно поднялся с места, выпрямившись во весь свой рост, внушительным объемом своего дородного тела деспотически тесня меня, тоже вставшего. Так мы стояли в

безмолвии некоторое время друг перед другом. Потом, глядя в его гладкое большое лицо, я тихо произнес:

«Бог есть, Олеся. И ты, хотя тебе и удобно в твоём хорошем теле никого не иметь в виду, все-таки зависишь от него. Потому что он тебя создал. Вот как я — этот портрет.»

Я знал, что сейчас уже полночь. Комната наполнилась невнятными голосами, лампочка под потолком несколько раз мигнула, и невесть откуда прилетевший легкий ветер шевельнул мои волосы.

«Яков Яковлевич, — заклинающе позвал я, охваченный знакомой, но сегодня сильной, как пронизывающий насквозь удар тока, дрожью — Яков Яковлевич! — неведомая магическая сила вдруг оторвала мои ноги от пола, и я повис в воздухе, не опираясь больше на землю, свободно и легко. — Пожалуйста, выходите!»

V

Яков Яковлевич возник, как всегда, непостижимо отделяясь от скрывавшей его стены, вежливо протягивая короткую ручку навстречу Крымовичу — не двигаясь, Олеся смотрел на Якова Яковлевича, его большое выразительное лицо вдруг дрогнуло и исказилось какой-то жалобной гримасой, я вскрикнул и увидел, как дородное тело Крымовича, словно сокрушенное страшным ударом, с грохотом опрокинулось навзничь — Яков Яковлевич растерянно застыл с протянутой рукой — я кинулся к распростертому на полу Крымовичу и заглянул в его широко открытые, полные беспомощного изумления, невидящие глаза. Он был мертв.

эпилог

Вот и закончилась эта необыкновенная зима. Опять в Одессе стало сыро и сыро. Но солнце иногда — пока еще нечасто и ненадолго — проглядывало в разрывах последних, истощенных уже зимних туч. Тогда вдруг ярко и свежо становилось на улицах, слышнее делались крики ребятни, играющей на Приморском бульваре.

Мои эксцентрические приятели по-прежнему деловито базили за столом у меня в студии, но мы, как правило, хорошо понимали

друг друга, и я не мешал им шумно искать выхода из невероятно сложных обстоятельств, которые держат их в Одессе. Это всё-таки да надо обсудить... Сам я работал тут же, прислушиваясь к их разговорам либо отвлекаясь от них.

В один из дней я чуть не наступил во дворе на крошечного вялого котенка, который пестротой своей шкурки был почти неотличим от бульжников, в щели между которыми грелся на проглянувшем солнце. Это значит, что весна уже в Одессе.

Каждую ночь я ждал. Яков Яковлевич не появлялся много недель, с той печальной ночи, когда умер Олесь.

Я понимал, что старик глубоко потрясен ужасным концом бедного Крымовича. Быть может даже, его мучает подозрение, что он был причиной этой трагедии. Но как мне было помочь Якову Яковлевичу, как утешить его? Мне оставалось одно — ждать.

Я неизменно ставил на стол тарелку с пряниками и его чашку и всю ночь, работая за мольбертом, поглядывал вокруг и прислушивался. Однако ночь следовала за ночью, а Яков Яковлевич все не решался появиться и не давал о себе знать. Я начинал всерьез печалиться о нем.

У меня никогда не возникало и тени сомнений в том, что он по-прежнему существует: там, в просторной белой бездне инобытия. Для меня было ясно — если нет его там, то нет и меня здесь. Но отчего он так долго не приходил?

Приближался день открытия нашей с Пшеничкой совместной выставки. Мы проводили вечера в павильоне, и как-то раз я решился поведать ему эту удивительную историю.

Мы вышли на опустевший Приморский бульвар, сели на скамейку под каштанами. Уже давно стемнело, и огни порта переливались знакомым лучистым светом, многократно отражаясь в черном зеркале моря. Пшеничка вынул пачку «Сальве». Я взял у него папиросу и сказал: «Саша, я хочу тебе сейчас рассказать, как умер Крымович...»

Пшеничка слушал, не прерывая. Когда я закончил, он с минуту молчал, кажется, что-то обдумывая. Затем спросил взволнованным голосом: «Так Юра, я правильно тебя понял — ты говоришь, что он — ну, чудак этот с Молдаванки — приходил обычно в двенадцать?» Я кивнул. «А сейчас уже больше — ты слышал часы на Думе?» — «Ох, Пшеничка, я и не обратил внимания. Но только, я же тебе

объясняю, он с той ночи не появляется!» — «Юра, вот ты странно рассуждаешь, — возразил Пшеничка. — А ты бы на его месте? Но мое мнение, чтоб ты знал, такое, что тебе — надо ждать.»

Мы поднялись и торопливо зашагали по бульвару, потом мимо Красной гостиницы, на углу возле бывшей Биржи, блестя в сырой темноте своими шальными глазами, Пшеничка сказал: «Олеся жаль. Но знаешь, мне его давно уже было жаль. А чудак этот, по-моему, зря так переживает. Он тут ни при чем. Что же ему теперь, не существовать, если в него не верят!»

Мы пожали друг другу руки и простились пока.

У меня в студии по-прежнему было пусто. Я тихонько постучал по стене, смутно надеясь услышать ответный звук. Нет ответа.

Тут длинно прозвенел телефон — Соня.

«Алло, Юрик? Где ты ходишь?» — «Я был в павильоне, Сонечка.» — «А кто это у тебя в мастерской так поздно? Что, опять?» — «Что ты имеешь — залепетал я, хватаясь за сердце — в виду, мой ангел?» — «Я имею в виду, мой ангел, что я тебе звонила в двенадцать, и кто-то взял трубку и сказал: «Я извиняюсь, а Юры нет». Кто это, Ю, а? Я его вроде не знаю, голос такой забавный.»

«Сонечка! Сонечка! Повтори, что ты сейчас сказала!» — взмолился я. Соня помолчала. Потом проговорила устало: «О господи, Ю. Ну где ты взялся на мою голову». — «Сонечка, ну умоляю, ну заклинаю тебя, ты все поймешь, только повтори, что ты сейчас сказала!»

«Я сказала: где ты взялся на мою голову? И не запутывай меня, Шуревич. Не хочешь говорить — не надо. Мне просто неинтересно». — «Нет, Сонечка, детка, это как раз необыкновенно интересно, и я тебе все расскажу. Только не сейчас, понимаешь? Понимаешь, — я перешел на шепот, — он может услышать...»

«Я хотела тебе сообщить, мой дорогой, — прервала меня Соня, — что я вылетаю завтра в Москву и сразу — в Одессу. Ты, надеюсь, встретишь. See you, darling!»

Всю ночь мне чудилось сквозь сон, что по мастерской кто-то тихонечко ходит. Не выдержав, я поднялся и вышел в большую комнату, где стоял как обычно накрытый к чаю стол и горел оставляемый мною свет. И на этот раз Якова Яковлевича не было видно нигде.

Но надкусанный пряник возле чашки с дымящимся еще чаем

и безошибочный запах нафталина, витавший в воздухе и мешавшийся с запахом свежей краски, повергли меня в знакомый трепет. Я улыбнулся в пустой комнате, осторожно прикрыл дверь и потихоньку вернулся к себе.

БЕСЦЕННЫЙ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ! СЕГОДНЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ ЛОНДОНА МОЯ СУПРУГА. СЕЙЧАС Я ЕДУ ЗА НЕЙ В АЭРОПОРТ. ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ВЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ ЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ВМЕСТЕ С НАМИ. НАДЕЮСЬ, ВЫ НЕ ОТКАЖЕТЕСЬ. Я БУДУ БЕСКОНЕЧНО СЧАСТЛИВ, ЕСЛИ СЕГОДНЯ НОЧЬЮ СНОВА УВИЖУ ВАС ОБОИХ! ДО ВСТРЕЧИ. ЛЮБЯЩИЙ ВАС Ю.П.ШУРЕВИЧ

КОНЕЦ

Марина Георгадзе

Стихотворения

ГОЛЬФИСТ

Человек: в нем сердце бьется,
кружит кровь, живот смеется,
и в глазах, как пламя чист,
тонет, тонет красный лист.

Наше прошлое пропало,
словно берег после шквала.
Только с желтого обрыва
корни виснут сиротливо,
и один гольфист упрямый
садит мяч из ямы в яму;

режет мяч в стволы, в песок,
в рикошет из рикошета;
представляя, что в висок
бьет врага из пистолета;
представляя, что детей
зачинает; забывая,
что всего лишь, развевая
клюшкой, пляшет меж корней

в предрассветном парке дымном
между спутанных и длинных

словно волосы, дерев:
над бормочувшим как рабби
взад-вперед и нараспев,
океаном.

New York 1993



Льдом зарастали небеса.
Застыло время на часах.
Поэтов мертвых голоса
не позволяли говорить.
Душа визжала, словно снег,
когда по ней шел человек,
который не хотел о всех
ради одной меня забыть.

Любовь была моей ценой.
Моей привычкою дурной.
Он был народом и страной,
он был мой дом, мой темный лес.
Я шла на театральный склад
и в снег швыряла всё подряд,
весь бутафорский рай и ад,
имевший очень легкий вес.

Всего-то счастья в октябре,
что много листьев на дворе.
Всего-то горя в декабре,
что слишком ясная зима.

А наши деды — мертвецы.
И одурачены отцы.
А мы — такие мудрецы,
чтоходим с этого ума.

Все флаги войн и книги слов
я променяла на любовь.
Взлетала выше облаков
и под землей дышать могла.
Казалось, деды прощены,
и нам отцы возвращены,
и мы толпой окружены —
нас ждут великие дела.

... Мелькнуло небо — и теперь
любовь — не бог, а жадный зверь.
И столько налегло потерь,
что расщепляется душа.
И отправляются на склад
освистанные рай и ад,
и я куда глаза глядят
бреду как прежде — без гроша.

Куда глаза глядят? — Вперед!
Голубка ветку принесет,
ковчег к причалу подойдет,
на месте моря встанет рожь.
Я буду прыгать в облаках.
Но в окончании стиха
моя безвольная рука
опять нащупывает нож.



Случайно сцепишь взгляды — и опять
Любовь вступает апперкотом в сердце.
Как будто можно снова начинать
то, что уже превращено в освенцим,
то что навеки проклято — любовь.

Как тут дерзают снова строить башни? —
как будто бы не знают, что вчерашний
был Вавилон разрушен до основ.
Как будто в воду не упал Колосс,
Помпея не сгорела — как по нотам
всё, что сгорело, всё, что не сошлось
они, как дети или идиоты,
с восторгом повторяют в новый раз.
...Сияет за окошками Везувий
и в городке Иерихоне джаз
по четвергам настраивает трубы.

И розовеют лица, как в грозу.
Слова расплывчатые, как фары ночью.

И хорошо еще, что пронесут
мечтания дорог однопоточных —
под музыку, в линкольне, в никуда.
Мимо любви, как мимо пиццерии.

Под черными мостами города
Заговорят, как рощи золотые.



Я хотела остаться у мамы под сердцем.
Но она родила меня — спрятаться негде.
Я хотела в коляске лежать незаметно —
но меня научили ходить по паркету,
по асфальту, линолеуму, по шпалам,
чтобы я уходила и уезжала.

А когда уезжала — меня обвинили,
что кого-то убила я, что-то разбила,
и вообще, мол, всегда поступала не так.
И рванулся навстречу разбавленный мрак.

Где я, боже? Ни дома, ни человека.
Остается, сомкнув темно-красные веки
повторять: меня нет, меня нет, меня нет.
И зеленые точки хохочут в ответ.

Moscow 1988

МЛАДЕНЦУ

Семь дней как родился, семь дней как пустышку сосет —
как будто семь дней разгружает вагоны в порту.
А слово еще не летало над паводком вод.
В глазах его волны, и крик пузырится во рту.

Еще не узнал ни один вавилонский язык,
но жалость, и память, и страсть безымянные в нем
уже разыгрались; и выглядит он, как старик,
семь дней как родился, седьмым припечатанный днем.

Наутро — в острог, а сегодня — уроды в метро.
Спокойнее, если уже ничего не спасет.
С ребенком восточная мать улыбнулась хитро.
Старушка по красному склону к Сиону бредет.

Ребенку еще невдомек; он еще не привык
улыбкой встречать костоломную эту игру.
Но в уши его, словно войско, вступает язык
И жизнь расцветает огромной пустышкой во рту.

Moscow 1990

DEJA VU

1.

Как будто тыщу лет я здесь живу,
в прострелах улиц, ярких, как прострелы
в спине; и наблюдаю смех пробелом
на черных лицах; вижу наяву
в окошке пирамиды, зигураты,
зеленую, как доллары, Свободу
в проливе — и как будто так и надо;
как будто чуть прискучили за годы
(как всё любимое, как все родные лица) —
Хеопс, Колосс, Сады Семирамиды
(Семирамоды). Если удивиться
так лишь тому, что желтый свиток «Пинты»
на фоне башен, вытянувших шеи
как барозавры, жаждущие сена —
я это точно видела уже, и
сильней открытья жажду повторенья.

2.

Когда от влаги и заката
в одно безумное строенье
все башни слипнутся — понятно,
зачем из пушечных камней
тесали головы без тела
кошачебогие ольмеки,
и почему не захотели
придумать письменность ацтеки.
И для чего чертили на ска
рисунок в тыщу миль длинную;
и как не лица — только маски —
их различали меж собою.

Все это резкое, чужое,
со странным запахом — невольно
оказывается тобою,
да так, что даже думать больно.

При чем Европа и Элада? —
С дрожащей яростью ольмекской
смотрю на слипшийся Manhattan,
и силу чувствую, как в детстве.

3. (Dedicated to Raggie Ginzburg)

Свобода, которую мы полюбили:
С дороги не съехать. Окно не открыть.
И мне у надгробного дома Помпилио
Машину вовеки не остановить.

Надгробья на грядках. Публичная школа
И кладбище, робкое, будто барашек

Мелькают в глазах ежедневным уколом,
как будто я всё это видела раньше, —

как будто там что-то со мною случилось
и новых событий грядет обещаенье.

Но нет — мы сюжетом уже отравились,
мы больше не греки — мы вавилоняне —

которые мчатся быстрее и выше.
Которых с работы пути нерушимы.
Которые, воздух земли на кондишн
сменив, неизменно проносятся мимо
заманчивых кладбищ и старых вулканов.
И падают в небо до самого света.

А вслед им знакомый, как пес, Челентано
поет, что —

ripova ci che sta morendo

New York 1992

Марина Георгадзе родилась в 1966 году в Москве. В 1988 году закончила Литературный институт им. Горького. Работала редактором, переводчиком. С мая 1992 года живет и работает в Нью-Йорке. Печаталась в газетах, журналах «Столица» и «Литературная Грузия», альманахах «Поэзия», «День за днем», «Теплый стан». В Америке — в журналах «New Review» и «Sandhills Review».



Евгений Попов

Товарищ Ранцев

Рассказ

Весёлая, эстетически выдержанная компания бывших советских людей собралась однажды, чтобы вместе встретить Новый Год, угощаясь шампанским, водкой, красным и белым вином, портвейном, ликерами, коньяком, джином, виски, прочими напитками, закусывая семужкой, бужениной, паюсной, зернистой, лососевой и минтаевой икрой, сервелатиком, киви, анчоусами, устрицами, авокадо, прочими продуктами.

Гости приехали кто на «мерседесах», кто на «БМВ», «вольво», «лендровегах», так что парковка у дома Филарета Назаровича, куда он их всех пригласил в свое сияющее елочными огнями трехэтажное жилое помещение, оказалась вся совсем забитая и лишь выделялись там коллекционные «Жигули» — «шестерка» Володьки, младшего сына Бланковых, левака и фрондера, который уверял домашних, что ездит на этой потрепанной машине отнюдь не из пижонства, а по идейно-экологическим соображениям, предпочитая к тому же экономически дешевый бензин А-92 всяким там «суперам», «дизелям» и прочей, как он забавно выражался, «примочной хреноте».

О, эти томительные минуты перед тем, как стрелки кремлевских часов сомкнутся на цифре 12, радуя весь бывший советский трудовой народ! И приглашенные слоняются по углам, не зная, куда себя девать, и раздумывающаяся хозяйка в бриллиантовых сережках тихо волнуется — всего

ли достанет на празднике, не украдет ли кто столовое серебро, правильно ль упреет гречневая каша, не пересушатся ли в микроволновой печи беззащитные поросята, не накурятся ли марихуаны подростки, возглавляемые неутомимым, вихрастым Сенькой Сидоровым, будущим народным депутатом? Сколько хлопот, сколько вопросов.

Филарет Назарович не выдержал и постучал тускло отливающим ножом фирмы «Золинген» по хрустальному графинчику отечественного производства, выполненному патриотами города Гусь-Хрустальный в форме бывшего центрального здания КГБ, Комитета Государственной Безопасности, учреждения, что, переменяв название, и по сей день существует на Лубянской, некогда Феликса Дзержинского площади, но является также и основным спонсором международных игр «Юный плюралист» имени академика Сахарова.

— Требую внимания, — шуточно заявил он. — Требую внимания, господа и... — Филарет Назарович, сделав паузу, отвесил легкий поклон в сторону Ранцева, — ... и товарищи! Все вы знаете нашу давнюю традицию — художественно изложить перед Новым годом, как все мы, выражаясь языком аппаратчиков эпохи строительства коммунизма в отдельно взятых странах, «дошли до жизни такой», то есть стали тем, чем мы стали. Вы помните, много лет назад я начал традицию с себя, живо описав, как поражен был я, тогдашний секретарь Союза писателей, непосредственно участвовавший в репрессиях против борцов против культа строительства коммунизма в отдельно взятых странах, когда зашел 7 ноября в партком Московской писательской организации, ныне превращенной в валютный бар, и обнаружил, что там мирно угощаются и закусывают наши бывшие идейные враги от Аксенова и Бродского до Янова включительно — через Алешковского, Владимова, Войновича, Горенштейна, Копелева, Максимова, Синявского, Солженицына, кто все эти годы сидели у меня, как мышь под веником, а теперь, видите ли, раздухарились... Как громом пораженный, хотел я закрыть подлюю дверь, но меня тоже втащили, усадили, старика, близ уютного, жаркого камина, дали в руки полный стакан джину аглицкого и довели до моего сведения ту формулу, которую я и дальше понес в массы: «ЧТО ПРОШЛО, ТОГО УЖ НЕТ»...

— Ой, да ты уже в который раз это рассказываешь, Филя, ну, прям, всем надоел! — досадливо махнула стройной ручкой в перстнях из драгметаллов Зинаида Кузьминична.

— Цыц, женщина, — скорее ласково, чем шутливо окоротил жену хозяин дома и мягко добавил, желая скрасить свою невольную резкость — вряд ли, Зинок, ты посмеешь упрекнуть меня в забвении священных сердцу каждого бывшего советского человека принципов свободы и демократии. Ведь на протяжении многих лет у меня уже все высказывались — и Свистонов, и Бабичев, и Канкрин с Гаригозовым, Шенопин с Епревым, и наш уважаемый Б.Б., и даже Изаура в прошлом году поведала нам о своем нелегком детстве на улице Грановского под властью ленинско-брежневской партократии. Правда, Изаура?

Он обвел взором стол и стулья, на которых, вооружившись накрахмаленными белоснежными салфетками, сидели все упомянутые персонажи.

— Правда, — была вынуждена согласиться Изаура, которая о чем-то тихо беседовала с леваком Володькой, склонив набок свою прелестную головку, украшенную прической «барашек».

— Вот я и говорю! — снова засмеялся Филарет Назарович.

— Да? — задорно подбоченилась Зинаида Кузьминична. — И ты думаешь, что выиграл наш спор? А Ранцев?

— Что «Ранцев»? — не желал сдаваться Филарет Назарович.

— А то, что мы до сих пор почти ничего о нем не знаем. Правда ведь, Ранцев? Откройтесь нам, а то этот говорун-невежа вечно никому слова вставить не даст, — шутливо укорила она мужа.

— Ах ты, сука! — вспыхнул хозяин, побагровев.

Но гости все равно облегченно расхохотались, вовремя вспомнив, что такая комическая перепалка тоже в традициях этого хлебосольного старомосковского дома, и тот, кого называли Ранцевым, невысокий мужчина с залысинами, в английском пиджаке, явно купленном в обычном коммерческом ларьке, почесав себя за ухом и с хрустом высморкавшись в громадный клетчатый носовой платок, начал:

— Совершенно взбешенный возвращался я тогда с пар-

тийного собрания. Думал, будет, как всегда — проведем собрание, споем «Интернационал» и пошлем коммуниста Никифорова за водкой. Ан нет! Прочитав отчетно-выборный доклад о работе «первички» в новых условиях, наш парторг Борисов, оказавшийся трусом, маловеком, нытиком и ренегатом, пряча глаза, нагло заявил, что он, видите ли, разочаровался в идеалах строительства коммунизма в отдельно взятых странах и поэтому выходит из партии. Потому что КПСС, по его мнению, виновата во всех преступлениях, совершенных в СССР, начиная с хулиганского октябрьского переворота 17-го года вплоть до наших дней, и он, дескать, этот козел, овец противный, фоган обтруханный, вступил в партию, чтобы, стало быть, облагородить ее изнутри, бился, как рыба об лед, но так ничего и не облагородил, не улучшил. Просит также зла на него не держать, но твердо и решительно заявляет, пытаюсь улыбаться: «Прощайте, други!»

Ну чем ты тут ответишь на такое нахальство? Мы посидели, помолчали, покурили немного, да и разошлись, не сказав ни единого слова ни друг другу, ни этому двурушнику, который вечно провозглашал на всех пьянках здравицу: «А теперь, товарищи, выпьем за нашу партию и ее ленинский Центральный Комитет». Эх, к чему тут слова!.. В прескверном настроении шел я по городу, но если, к примеру, и Филарет Назарович, и многие из вас почти сразу правильно определились, выпивая с бывшими антисоветчиками, как с нормальными людьми, то я первоначально растерялся, как комсомолец из произведений Михаила Светлова, Эдуарда Багрицкого и прочих поэтов, не понявший и не принявший новой политики, в тот раз — экономической... Комсомолец... Да...

Тем более — жена. Дело прошлое, но детей, которые тогда от меня, естественно отказались, Маргарита воспитывала в духе вещизма. К тому же для всех, исключая меня, не являлось секретом, что она трахалась с разведенным американцем, набожным Карлой, который и увез их всех, наконец, в свой Мидлтаун, штат Коннектикут, USA. А я узнал об этом отвратительном факте адьюлтера аккуратно накануне партийного собрания от соседа по лестничной клетке, которому она в который раз перепродавала кожаные

джинсы, а я еще, идиот, выходил на лестницу курить, дескать, мистер Карла, мать его курицу, не выносит, видите ли, паразит, табачного дыма...

Ранцев закашлялся, смущенно глядя на публику, особенно на женщин, а больше всего — на Изауру. Но мертвая тишина, воцарившаяся за столом, вдохновила его, и он продолжал свою нелегкую исповедь.

— Конечно, я готов был прибить жену секачем для рубки капусты, узнав такую гадость, но я никогда еще не опаздывал на партийные собрания, решил не делать этого и сейчас, несмотря на оптимальный случай, который можно было бы счесть уважительной причиной. Поэтому я оставил развратников вдвоем и отправился все-таки на партийное собрание. Теперь вам легко представить, что творилось у меня на душе в этот промозглый декабрьский день накануне Нового года. Филарет, ты не дашь соврать. Ты помнишь, что я был вне себя от бешенства, товарищ?

Филарет Назарович коротко кивнул.

— Одни гнусности видел я вокруг себя, выйдя с партийного собрания, проходившего на улице 25 октября, ныне опять — Никольской. В здании историко-архивного института некто Юрий Афанасьев, ректор этого заведения, и английская артистка Ванесса Рейгрейв на пару проповедовали учение Троцкого, около Храма Покрова, известного в народе под именем Храма Василия Блаженного, расположился антиобщественный палаточный городок бродяг и тунеядцев, а близ ныне свергнутого памятника Я. М. Свердлову толпа, возглавляемая философом Пашкой Чмуровым, первым мужем моей жены Маргариты, ругала Якова Михайловича и называла его жидом, а когда я им сделал замечание, мне нагло ответили, что в этом нет никакого оскорбления, потому что «жид — он и есть жид», в этом нету никакого оскорбления, это — национальность, и ничто иное, подпадающее под соответствующую статью Уголовного Кодекса тогдашней РСФСР.

Вне себя от ярости!.. Но странный слом произошел во мне не на Воробьевых (Ленинских) горах, а на Арбате, куда я немедленно пришел, чтобы купить себе автомат Калашникова и при удобном случае изрешетить из него прямо в постели и

Карлу, и Маргаритку, предварительно выведя детей на улицу под предлогом предполагаемого салюта в честь советского Нового года.

Однако я к этому времени все еще оставался сугубо кабинетным работником, частично оторвавшимся от дум и чаяний простого народа, и, прямо нужно сказать, немножко хуже ориентировался в реальной жизни, чем сейчас, обретая собственное место в нашем кругу. На мой спрос продать автомат с целью убийства жены продавцы лишь ошибочно веселились, думая, что я пьян и шучу. И предлагал мне в ответ всякую дрянь — наркотики, фальшивые репродукции Ильи Глазунова, кисет Владимира Высоцкого, свежие переводы Гертруды Стайн, потаенную прозу Климонтовича, комиксы Александра Кабакова, «Русскую красавицу» Вик. Ерофеева и его же поясной фотографический портрет.

Я был в отчаянии! Я, как мог, отбивался от них! Я хотел спастись от негодяев в редакции журнала на букву «М», где у меня служил товарищ, недавно окончательно ушедший в монастырь, но подъезд того арбатского здания, где, среди всего этого свинства, помещался честный журнал, оказался запертым, и я был вынужден под угрозой ножа приобрести на 3 рубля, смехотворную в нынешних условиях, а тогда весьма ощутимую сумму, брошюру-инструкцию, учащую, как нетрадиционными методами добиться у населения ста процентов оргазма. Вот так автомат Калашникова!

Он снова вскинулся и посмотрел на слушателей, но все уже немного выпили, и Ранцев заново успокоился, понимая, что действительно находится среди своих и его речь будет оценена адекватно всему изложенному.

— В этот момент во мне и произошел слом. А впрочем, все по порядку... «Зачем такая жизнь нужна? — с холодной ясностью подумал я. — Это МНЕ, а не ИМ нужно уйти из такой жизни, к едрене Фене, враз и навсегда!» — с горечью понял я.

А следует заметить, что я тогда полагал, будто Бога нет (прости, Господи!), отчего и не опасался никаких последствий для своей души от этого суицидального, низкого акта. Грешник, я даже наслаждался, представляя себе, как будут мучиться в геенне совести моя бывшая Маргарита и набож-

ный Карла, когда осознают, что стали непосредственным источником моей смерти! Короче, я направился пешком на Воробьевы (Ленинские) горы, твердо решив привести в исполнение следующий план: там, на горах, на смотровой площадке, откуда вся Москва с ее златоглавыми соборами, «высотками», черными трубами ТЭЦ, как на ладони, и где московские пьяницы обоего пола, когда женятся, бьют в своих парадных костюмах пустые шампанские бутылки о гранитный парапет, ограждающий от них красавицу-город, именно там я подберу крупный стеклянный осколок, заберусь на бездействующий лыжный трамплин да и ухну вниз, рассекая в последнем соприкосновении с землей не только сонную артерию, но и практически все собственное горло. Зачем мне тогда все эти автоматы, пулеметы, банки ядов, намыленная веревка? К черту, к черту все, если всюду разврат, преданы идеалы строительства коммунизма в отдельно взятых странах, и больше нету уже ничего, кроме тлена, гнили, морока и разложения!..

Кто-то сделал робкую попытку налить ему водки в опустевший фужер. Кажется, это была Изаура, наконец-то прекратившая шушукаться с Володькой и, по-видимому, не на шутку увлеченная горькими словами Ранцева, который решительно пресек эту ее попытку, сказав и сильно побледнев: — Не нужно. Вот-вот, сейчас, сейчас, я уже скоро кончу, но все же выпил. И, абсолютно не закусывая, а только промокнув салфеткой высокий вспотевший лоб, снова заговорил, пытаясь завершить свое затаенное признание:

— Перед смертью я расположился на парковой скамейке, чтобы выкурить сигарету «Филипп Морис», которые нам выдали в пайке как экономическую помощь от немцев, побежденных нами во время второй мировой войны. Затаившись разок, другой, я с неудовольствием обнаружил, что рядом вдруг плюхнулся какой-то неизвестный мужчина в крепкой, новой дубленке и с сумкой «Аидас», которую всю аж распирало от содержимого. И хотя он обратился ко мне не за сигаретой, а с просьбой «прикурить», я сделал это с крайним неудовольствием, ибо, выполнив просимое, конечно же, был вынужден вступить с ним в беседу.

— Да, все-таки это очень хороший праздник, Новый год, гораздо лучше, честно признаться, чем 7 ноября, — кашля-

нув, сказал мужчина, — какие бы катаклизмы ни сотрясали нашу несчастную Родину — хоть Батый, хоть Ленин со Сталиным, хоть Гитлер или, например, тотальная кукуризация, «большая химия», строительство БАМа, «Малая земля», вырубка столетних виноградников, закон о суверенитете, распад СССР — в этот праздник нам все нипочем! Так же, как при царе, светятся светелки; люди, получив пищу по карточкам или украв ее по месту работы, наряжают елки, детей, моются в ванной. И я своим пострелятам нес итальянские хлопушки, полученные в спецраспределителе, да вот немножко загулял со старыми, хе-хе, партайгеноссе, выпили поднос шампанского, покушали жульенов из дичи. Сейчас вот немного отдышусь, полюбуюсь еще разок видом прекрасной столицы, преображенной коммунистами, и — айда к семье!.. То-то мои-то обрадуются!

Так сказал Филарет Назарович, а это, конечно же, был он, и вы уже, конечно же, догадались об этом...

Глухой шум прошел по застолью. Филарет Назарович лукаво подмигивал гостям, кланялся, как японец, прижимал, как глухонемой, руку к сердцу, но видно было — и он не на шутку взволнован тем, что происходит. Вечеринка удалась!

— Так сказал Филарет Назарович, и странное, истеричное раздражение охватило все мое существо. «Вы, сволочи, продали страну неизвестно кому! Развалили экономику, политику, экологию, нравственность! Ряшки понаели, шампанское жрете, а мы теперь пропадай!» — злобно обратился я к своему собеседнику и немедленно был поражен тем, что он как бы и ожидал такого моего ответа. Он придвинулся ко мне и от него — клянусь! — совсем не пахло спиртным.

— Голуба, голуба, — медленно выговорил Филарет Назарович, не сводя с меня своего цепкого, внимательного взгляда. — Да неужели вы с таким адом в душе надеетесь выплыть в этой реке времен, в этом потоке жизни? Бросьте вы это немедленно, такие пораженческие настроения, тут же бросьте! Если вы настоящий коммунист, вспомните ту широту, которую проявляли и в теории, и в жизни не только Маркс, Энгельс, но даже Бакунин с его «Катехизисом революционера», ту духовную витальность, которая впоследствии была похерена отнюдь не Лениным — он был великий

человек, — а ЛЕНИНИЗМОМ, имеющим к вождю такое же отношение, как мейерхольдовщина к Мейерхольду или колхозы к крестьянству. Да неужели же вы всерьез думаете, что все, завоеванное нами в труде и обороне, пропадет? Да пока жива хоть одна душа — держится Россия! «И каторжный Федька стреляет дуплетом», — как писал поэт Юрий Кублановский совершенно по другому поводу. И — держу пари... — Он прищурился, как упомянутый им Ленин. — Держу пари, что вы задумали нечто нелепое, устрашающее, ужасное, но я, я постараюсь спасти вас!..

— Лучше страну спасите! — нелепо огрызнулся я, ну, право, как какой-нибудь диссидент при обыске или задержании. — Бардак в стране! Сил нет смотреть на весь этот бардак, а вы все поете какие-то прежние, застойные песни.

— Да какие же они прежние и застойные, батенька? — искренне изумился Филарет Назарович. — Мы, например, с товарищами — я подчеркиваю: товарищами, хотя мы, очевидно, какое-то время будем вынуждены называть друг друга по-иному, — создали кооператив «Надежда». Пока что мы всего лишь раскинули по стране сеть общественных платных уборных, чтобы люди наконец-то смогли цивилизованно от-правлять свои естественные надобности, но у нас впереди — будущее, и это будущее — наше. У нас обширная программа, мы уже вплотную подошли к бартерным сделкам. Ищем спонсоров с валютой для финансирования интересных задумок и наработок. Но вас-то таковым ВАЛЮТЧИКОМ я отнюдь не считаю, — помнится, пошутил он. И вдруг встревожился, — да уж не враг ли вы? Или, может быть, просто обыватель, мещанин, желающий счастья прежде всего самому себе, а не всему человечеству?

— Нет, я коммунист, — сказал я.

— Так и я коммунист, — расхохотался Филарет Назарович, — но тактика и логика нашего движения на данном этапе таковы, что мы сейчас как бы уходим в подполье. Подчеркиваю еще раз: на НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ время, на то, которое потребно, чтобы создать в стране сильный экономический базис, а уж потом мы им всем, этим говорунам покажем такую... надстройку, что они у нас попляшут, как Стрекоза перед Муравьем из произведений дедушки Крылова.

— А какой это, хотя бы примерно, период? — робко спросил я.

— Не знаю, — отрезал он. — Сколько нужно партии, такой и будет период. Мы станем капиталистами и заставим стать капиталистами всю страну. И они сами, сами, подчеркиваю, рано или поздно обожгутся благоденствием и захотят чего-нибудь новенького, социальненького, гуманненького, а тут-то и мы со своими немеркнувшими идеями строительства коммунизма в отдельно взятых странах! — Голос Филарета Назаровича возвысился почти до визга. — Идеи эти упадут, как зерно на благодатную унавоженную почву! Вспомните Швецию, Финляндию, Данию, Германию, Америку, наконец. Ведь если бы там были такие люди, как мы, то там при их материальной базе уже давно был бы построен коммунизм. В отдельно взятых странах. Вы согласны со мной?

Я молчал. Потому что я понимал — этого человека послал мне Бог.

Подняв к черному небу с россыпью звезд залитое слезами лицо, я незаметно выпустил из сжатой руки бутылочный осколок, и он глухо шмякнулся на грязный, захарканный асфальт, и мы с Филаретом Назаровичем сделали вид, будто не заметили этого.

— Я согласен с вами, я тоже пока иду работать для конспирации и будущего в сортир «Надежда», — сказал я, скрывая рыданье.

...Ранцев оглядел присутствующих. Все они не кушали, пригорюнившись, и обстановку, как всегда, был вынужден разрядить сам хозяин дома. Сдвинув твердый манжет фракционной рубашки «Стэмплтон» и обнаружив тем самым циферблат японских часов «Сейко» желтого металла, он вдруг воздел руки в комическом ужасе.

— Господа! Да ведь за хорошим разговором, понимаешь, мы совсем чуть было не упустили, что наша страна и все человечество вступают в новую фазу нового года. Мужчины, открывайте шампанское! Ребята! Сенька Сидоров, будущий народный депутат, кончай смолить свою марихуану. Володька! Все готовы? Наполняйте бокалы, сейчас Михаил Сергеевич, Борис Николаевич, Владимир Вольфович и Фуцин скажут по телевизору их новую приветственную речь. Знаи-

да Кузьминична, дорогая, любимая, может, хоть в эту минуту ты не будешь лезть ко мне с пустяками? Ранцев, ты закончил свою исповедь? Товарищ Ранцев, ты слышишь меня или ты оглох и онемел?

Но Ранцев молчал, внезапно обнаружив в кармане пиджака толстую пачку десятидолларовых банкнот.

Ударили Кремлевские куранты. Гости торжественно сгрудились. И внезапно заплакала нежная любящая Изаура, прикрыв свои прекрасные глаза узкой ладонью, на тыльной стороне которой было вытатуировано «PERESTROIKA».

— Ранцев! Невозможный! Неужели вы не видите, что я люблю, люблю вас! — шепнула она.

И заплакали, глядя на нее, Филарет Назарович, Зинаида Кузьминична, Свистонов, Бабичев, Канкрин, Гаригозов, Шенонин, Епрев, уважаемый Б.Б., ребята во главе с неутомимым вихрастым Сенькой, будущим народным депутатом.

Плакали оленеводы Чукотки, золотодобытчики Колымы, шахтеры Дзезказгана и Кузбасса, свекловоды и ракетчики Украины, русские крестьяне и прибалтийские фермеры, гордые кавказские горцы и мясопромышленники Казахстана, полесские космонавты, молдавские виноградари, хлопководы и газовики Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, писатели Киргизии, — плакали все, но это уже были слезы радости. Блаженство охватило преображенную советскую землю. Усталую, но довольную.

Лишь Владимир Бланков, криво улыбаясь, застегнул дрожащими непослушными пальцами свою джинсовую куртку, метнул гневный взгляд на Изауру и выбежал вон, резко бросив напоследок новым буржуям:

— Мы пойдем другим путем!

— И все-таки, как ни хорошо жить, товарищи, но при коммунизме жить будет еще лучше, — тихо подытожил Филарет Назарович, не обращая внимания на мальчишескую выходку сына.

Плакала Изаура. Молчал Ранцев. Валялись пьяные. Уже светало на бывшей советской сторонущке.



Людмила Улицкая

Бедная счастливая Колыванова

Рассказ

Красная женская школа стояла насупротив серой, мужской, построенной пятью годами позже, как будто специально для того, чтобы оповещать о разумной парности мира, но также и для того, чтобы дух соревнования не разливался бессмысленно по всему району, а мог бы сосредоточенно явиться над двумя этими крышами и воссиять голубем над достойнейшей, а именно женской, и по успеваемости, и по поведению, и по травматизму, в отрицательном, разумеется, показателе, всегда лидирующей.

Считалось, что в красной школе и педагогический состав лучше, и буфетчица меньше ворует, и дворник бойчее скалывает лед зимой и усерднее гоняет пыль по дорожке в летнее время.

Директорша Анна Фоминична тоже была известная, работала в двадцатых годах с самой Крупской и очень хотела, чтобы школе присвоили имя Надежды Константиновны, но его присвоили роддому, что был неподалеку. Голос у Анны Фоминичны был тихого металла, в стриженных волосах цвета пеньковой веревки она носила круглый гребень, а борт синего пиджака был по будням весь в дырочках, зато по праздникам в

каждую дырочку вставлялось по ордену, или по другому почетному знаку, тоже на винтике, а все остальное, то есть медали, прикалывалось скобочками.

Учительский коллектив она подбирала с тщательностью, но не только в общественные лица, тайными знаками проступающие из документов, она всматривалась, и человеческие достоинства, и профессиональные качества учителей учитывала Анна Фоминична при подборе кадров.

В РОНО у Анны Фоминичны был такой авторитет, что ей многое дозволялось, о чем другие и не помышляли.

Все педагоги прекрасно знали о больших возможностях Анны Фоминичны, но и они были безмолвно удивлены, когда по выходе на пенсию старой немки Елизаветы Христофоровны, замученной грудной жабой и дерзкими старшекласниками, Анна Фоминична представила им накануне первого сентября новую преподавательницу немецкого языка со скрыто-воинственной фамилией. Эта новая Лукина была больше похожа на заграничную артистку, чем на советскую учительницу. Она только что вернулась из Германии, где много лет прожила с мужем-военным, и с головы до ног представляла собой сплошной вызов, и особенно ноги были вызывающими, какими-то непристойно-голыми — чулки она носила бесцветные, прозрачные и к тому же без шва, что было новомодной роскошью.

Педагогический состав, преимущественно женского пола, благодаря профессиональной выдержке кое-как вынес удар, но что должно было произойти со школьниками, не защищенными еще жизненным опытом, трудно было даже представить.

Год вообще обещал быть тяжелым: только что вышел указ о совместном обучении, мужскими и женскими оставались теперь только уборные в конце коридора, а не все школы в целом. Молоденькие учительницы, работавшие до этого исключительно в красной школе, были в большом смятении, более старшие коллеги, имевшие довоенный опыт работы в смешанных школах, отнеслись к этому новшеству хоть и неодобрительно, но без особого волнения. Слияние школ сопровождалось также введением мужской школьной формы, частично копирующей гимназическую. Старый математик Константин Федорович, начавший свою педагогическую деятельность еще до революции, прокомментировал предстоящую перемену кратко и загадочно: «Гимназическая форма внутренне

организует». Он привык смолоду следить за своей дистиллированной речью и ничего лишнего не произносил.

Для учениц пятого «Б» день того первого сентября был незабвенным: вместо двадцати переведенных в серую школу одноклассниц им „влили“ пятнадцать бритоголовых хулиганов, набыченных и несколько растерянных. Плотным серым клубком они сбились в дальнем левом углу класса, держа круговую оборону, которую никто не собирался прорывать. Девочки изо всех сил делали вид, что ничего и не происходит, обнимались, висли друг на дружке и разбивались на парочки, чтобы занять места на партах.

Безутешная Стрелкова сидела на парте одна, горюя о Чельшевой, безвременно ушедшей в чуждый мир бывшей мужской школы. Выгоревшая на деревенском солнце Таня Колыванова, как обычно, устраивалась на задней парте, и хотя занятия еще как бы и не начинались, уже испачкала щеку лиловыми чернилами.

Зазвенел звонок, и на последнем его хриплом выдохе в класс вошла новая классная руководительница. Онемели все — и старожилые девочки, и пришлые мальчики. Она была высока ростом и дородна. Сорок одна пара остановившихся зрачков пронзили учительницу, ни одна деталь ее внешнего облика не была упущена. Волосы ее блестели лаком, как крышка рояля в актовом зале, они и в самом деле были покрыты специальным лаком, о существовании которого еще не знала эта шестая часть света суши; красная густая помада немного вылезала за линию небольшого рта; темнозеленые плоские туфли с черным бантиком и темнозеленая же сумочка являли собой неправдоподобное совпадение, а на руке было плоское обручальное кольцо, каких в ту пору вообще не носили. И так далее...

— Вырасту и обязательно сошью себе такой же костюм в клеточку, — немедленно решила Алена Пшеничникова, а остальные двадцать пять девочек, не умеющие так быстро принимать решения, потрясенно и бессмысленно тарачились на это чудо.

Колыванова, которую природа наделила неизвестно зачем очень тонким обонянием, первой ощутила сложный и обморочный запах духов. Она втянула в себя побольше этого пряного и немного слезоточивого запаха, но не смогла его в себе удержать и громко чихнула. На нее все посмотрели.

— Будь здорова, — сказала учительница.

Туго натянутая пауза обмякла.

— Садитесь пока кто куда хочет, потом разберемся, — продолжала учительница важным и немного писклявым голосом.

Колыванова села на свою заднюю парту, покраснев так, что на густом румянце выступили светло-серые веснушки.

— Поздравляю вас с началом учебного года. Я ваша классная руководительница, меня зовут Евгения Алексеевна Лукина, — с выразительными растяжками произнесла она и уже к концу фразы поняла, что напрасно беспокоилась и что дети будут слушать её и подчиняться ей так же, как и молодые военные, которым она преподавала прежде.

— А теперь познакомимся, — продолжала она и, раскрыв свежий журнал, произнесла, — Алферов Александр.

Алферов Александр был самым мелким из мальчиков, но со взрослой мордочкой и смахивал на лилипута. Он стоял, держась за парту и опустив глаза. Она молчала, ожидая, когда он посмотрит на нее. Он посмотрел.

Евгения Алексеевна была большим мастером взгляда, она умела смотреть кротко, колюче, многообещающе, загадочно и презрительно, вступая в молниеносные личные отношения. Она дочитала до конца весь список, подержала на крючке своего взгляда каждую из этих маленьких рыбок, запомнила фамилии двух девочек-близнецов, мальчика-лилипута, улыбающейся толстухи с передней парты и еще нескольких, с особыми приметами. Память у нее была профессионально-цепкая и она знала, что через неделю будет знать всех до единого. Она написала на блестящей мокрым асфальтом доске: «Heute ist der 1. September» и приступила к обучению немецкому языку...

Эти первые дни сентября были в школе, особенно в старших классах, нервными и напряженными. Мальчики и девочки, оказавшиеся вдруг в неожиданной близости, рассматривали друг друга новыми глазами, и даже те из них, кто давно был знаком по дворовым гуляньям, знакомились как заново.

Быстро вызревали школьные романы, туго свернутые записочки летали с парты на парту и траектории их полета были гораздо интереснее, чем траектории пули, пущенной со скоростью 45 м/сек из ствола под углом 30 градусов из бессмертного учебника по физике Перышкина.

К концу сентября было доподлинно известно, кто в кого влюблен. В Аллу Пшеничникову влюбился Костя Черемисов и, как выяснилось впоследствии, на долгие годы; толстая Плишкина отдала свое просторное сердце спортивному второгоднику Васильеву и хорошенькому Саше Кацу одновременно; Багатурия и Конников ели друг друга глазами с первого по последний урок и Леночка Беспалова уже видела их однажды у самого фонтана на Миусском скверике.

Были, конечно, и тайные симпатии, скрытые страсти и потаенная ревность, но самое пылкое чувство, идеальное и бескорыстное, было укрыто в сердце Колывановой. Предмет влюбленности был недостижимо высок и совершенен — сама божественная Евгения Алексеевна.

Два урока в неделю и минутные встречи в коридоре не насыщали Колывановской страсти. Обычно во время перемены она вставала напротив двери учительской и ждала ее выхода, как ждут выхода примадонны, и каждый раз Евгения Алексеевна оказывалась прекрасней возможного, действительность ее несказанной красоты превосходила ожидаемое, и Таня счастливо обмирала.

Невзирая на столбняк счастья, мелкие детали не ускользали от восхищенного взгляда: новая брошка у ворота, край шелкового платочка, вдруг высунувшийся из верхнего мелкого кармашка ее костюма. Тане не приходило в голову, как, скажем, Алене Пшеничковой, возмечтать о таком вот костюме в клеточку, когда-нибудь, в бесконечно-удаленном времени «когда вырасту». Единственное, чего хотелось Колывановой, было иметь фотографию Евгении Алексеевны, и она заранее предвкушала, как в конце года сделают большую фотографию всего класса с классной руководительницей посередине и как она вырежет ножницами ее портрет, непременно круглый, и будет носить его в пенале, в маленьком отделении для перьев. Но до конца года было еще далеко.

Однажды в конце сентября, проведив на филерской дистанции Евгению Алексеевну до метро, она решила спуститься вслед за ней и, сделав незамеченной пересадку на станции «Белорусская», вышла на «Динамо», следуя на приличном отдалении за ее светлым плащом. Плащ мелькал между деревьями, петлял по тропинке мимо ветхих дач бывшего Петровского парка, а Таня шла по красно-желтым

кленовым листьям, как по небу, и готова была идти так всю жизнь, видя впереди себя этот складчатый плащ и блестящий античный узел, свитый на затылке.

Потом учительница свернула куда-то и исчезла. Колыванова решила, что она вошла во двор единственного достойного ее дома, «генеральского», украшенного огромными гранитными шарами у входа.

Впоследствии выяснилось, что Евгения Алексеевна действительно жила в этом доме. Еще несколько дней спустя, когда тайные проводы учительницы стали ежедневным ритуалом, Колыванова увидела, как навстречу учительнице бросилась девочка лет пяти, в красной плиссированной юбочке и с обручем в блестящих черных волосах. Девочка гуляла с толстой хмурой старухой в шляпе с ушами и была в сущности некрасива: с высоким узким лобиком, длинным подбородком и толстой нижней губой. Тане она показалась необыкновенной.

— Заморская какая девочка, — подумала она восхищенно. К тому же заморскую девочку звали Регина. Девочка была так похожа на своего отца, что спустя некоторое время Колыванова узнала отца девочки в широком кургузом генерале с толстой нижней губой, который с недовольным лицом вылезал из черной машины возле подъезда Евгении Алексеевны.

Движимая ненасытным и невинным желанием видеть возлюбленную, Колыванова следовала за ней в известном отдалении, когда та отправлялась к своему зубному врачу на Трубную площадь, невидимо сопровождала ее, когда она навещала в больнице свою старшую сестру, поджидала возле парикмахерской, где ей мазали вишневым лаком большие ногти, и вдыхала дурманящий запах лака, пробивавший тонкие кожаные перчатки, когда та выходила на улицу. Даже самая тайная сторона жизни учительницы не ускользнула от Колывановой: по вторникам, без десяти три, Евгения Алексеевна выходила из школы и шла пешком в сторону, противоположную метро, доходила до кафельной молочной на углу Каляевской и Садового, останавливалась у витрины с гигантскими бутафорскими бутылками, и в ту же минуту подъезжала серая «Победа», из нее выскакивал высокий военный, огибал машину и распахивал перед ней дверцу. Она садилась на место рядом с водительским, он с непроницаемым лицом хлопал дверцей и выворачивающаяся из-за угла в этот

момент Колыванова еще успевала заметить в скругленном окошке машины мужскую руку на запрокинутом затылке.

Самоуверенная и беспечная Евгения Алексеевна, которая даже школьных учительшек, как сама говорила своей ближайшей подруге, смогла поставить на место, была близорука, лица в толпе для нее смешивались, а что касается Колывановой, то ей, по ее детской и всяческой незначительности, раствориться в толпе труда не стоило. Так и жила Евгения Алексеевна с невиданным эскортом, изо дня в день, не исключая и выходных, которые Колыванова проводила по возможности в ее дворе с гранитными шарами, чтобы не пропустить, как она выходит из дому с дочкой или с мужем...

Потом началась зима. Евгения Алексеевна стала ходить в блестящей цигейковой шубе и коричневых ботинках на белом каучуке. Девочки в классе постоянно обсуждали Евгешины наряды, но Колыванова этих разговоров не понимала: красивая одежда Евгении Алексеевны была, по ее ощущению, не свидетельством хорошего вкуса, богатства, того факта, в конце концов, что Евгения Алексеевна долго жила за границей, а исключительно ее личным качеством, словно блестящие шубы и сапожки, пушистые свитера и кофты она просто выделяла из самого своего существа, как моллюск выделяет перламутр.

К середине декабря, к концу второй четверти, у Колывановой открылось так много двоек, что Евгения Алексеевна вызвала ее, указала крепким ногтем на каждую из них и сказала, что надо обязательно подтянуться. Она прикрепила к Колывановой исполнительную отличницу Лилю Жижморскую, и Лиля рьяно взялась за дело. Ежедневно дожидалась Лиля, пока Колыванова съест в школьной столовой свой бесплатный обед, завистливо поглядывая на казенный винегретик, который дома почему-то никогда не готовили, и вела Колыванову к себе, совсем недалеко от школы.

Ласковая домработница Настя целовала Лилю. Лиля целовала Настю. Потом выходила головастая кошка — потереться о Лилины ноги в бумажных чулках, а в конце концов выползала крошечная, совсем игрушечная старушка, которая называлась Цилечка, и происходило еще одно целование. Цилечка говорила все на «э» — золоткэ, кошечкэ, донелэ и совершенно ничего не слышала, о чем Лиля в первый же раз и сообщила Колывановой: Циля, наша родственница из провинции, приехала, чтобы подобрать слуховой аппарат.

Потом они мыли руки и шли в большую комнату, где стоял стол с белой скатертью, ковровая кушетка, пианино и много всякого другого добра и красоты, даже телевизор с линзой. Настя приносила обед сразу на двух тарелках для каждой, и еда тоже была необыкновенная. Один раз дали вместо супа бульон в чашке с двумя ручками с пирожком на маленькой отдельной тарелочке, и пирожок был хотя и с мясом, но такой вкусный, как будто сладкий. Пока они ели, Настя стояла у двери со сложенными на животе руками и непонятно чему радовалась. Когда же однажды Настя подала им компот не в стаканах, а в стеклянных плошечках, Колыванова вдруг догадалась, что и у Евгении Алексеевны в доме все должно быть в точности так богато и красиво. Только странный запах все время ощущался в комнате, тревожный и раздражающий. «Еврейями пахнет», — решила Колыванова, которая знала, что они каким-то нехорошим образом отличаются от других людей. Это был запах камфары, который пропитал квартиру со времен болезни Лилиного деда.

После второго обеда хотелось спать, но Лиля вела Колыванову в маленькую угловую комнату и усаживала за уроки. Сначала Лиля толково объясняла, но если видела, что Таня не понимает, быстро писала все в своей тетради и велела просто переписывать. Ученье заканчивалось довольно скоро, потому что в четыре часа входила Настя и напоминала: — Лилечка, у тебя музыка, или, — Лилечка, у тебя немецкий... И Лилечка послушно складывала тетради, а Таня уходила.

Колыванова так увлеклась ходить к Жижморским, что даже немного охладела к Евгении Алексеевне, хотя воскресенье по-прежнему проводила в ее дворе.

К концу четверти все двойки были исправлены, кроме географии, по которой Колыванову все не спрашивали. Тогда Лиля сама пошла к учительнице географии и попросила, чтобы та вызвала Колыванову. Ей поставили троечку, и Лиля возгордилась Колывановскими успехами больше, чем своими скучными пятерками: в ней проснулось педагогическое тщеславие.

Между тем приближался Новый Год, в классе собирали деньги на подарок классной руководительнице и родительница Плишкина, которая была, как все знали, со вкусом, купила в подарок от имени всех большую плоскую коробку с шестью хрустальными бокалами. Таня так и не увидела этих бокалов,

хотя десять рублей у матери выпросила, и просительница Плишкина поставила крестик против ее фамилии. Зато в магазине «Стекло-Хрусталь» на улице Горького она долго рассматривала весь выставленный в витрине хрусталь и выбирала мысленно среди рюмок те, которые казались ей самыми красивыми: высокие, узкие, с граненым шариком на вершине ножки.

Потом начались скучные каникулы. Дома болел Колька. Сестра Лидка ходила теперь на работу, была ученицей обмотчицы, а Танька сидела с Колькой. Потом заболел и Сашка. Колыванова с нетерпением ожидала конца каникул, заранее загадывая, как она увидит Евгению Алексеевну. За время разлуки любовь ее как будто немного затуманилась, но не прошла. В сущности, это была счастливая любовь, она ничего не требовала для себя, и даже мысль о служении не являлась Колывановой. Да и чем могла послужить своему божеству маленькая Колыванова, не имеющая за душой ничего, кроме смутного восторга...

Наконец, наступило одиннадцатое января. В восемь часов утра Колыванова уже стояла у школьных ворот, ожидая, как Евгения Алексеевна войдет во двор — линкором среди плавучей мелочи. И вот она вошла, еще более высокая, чем представлялась Колывановой, еще более красивая, и не в цигейковой шубе, а в рыжей лисьей жакетке и зеленом цветастом платке.

Раздевалась Евгения Алексеевна в учительской раздевалке, а Колыванова стояла в очереди, чтобы просунуть свое дрянненькое пальтишко в гардеробную дырку и, отдавши его дежурным, прошмыгнула в учительскую раздевалку и понюхала рыжий жакет, который пахнул наполовину зверем, наполовину духами и светился огнем и золотом. Она погладила чуть влажный рукав и ушла незамеченной...

После школы Лиля позвала ее делать уроки, но она отказалась, потому что уснувшая было любовь пробудилась с новой силой, и она решила во что бы то ни стало проводить сегодня Евгению Алексеевну до дома тайным, как всегда, образом.

Таня после уроков долго гуляла в школьном дворе, поджидая Евгению Алексеевну. Она вышла в половине четвертого и быстро, не глядя по сторонам, пошла к метро, спустилась вниз, но не повернула, как обычно, к среднему

вагону, а пошла в самый торец зала, откуда двинулся ей навстречу заметный человек в белом кашне, без шапки, с густыми серыми усами. Он был не тот военный, который встречал ее по вторникам возле молочного магазина, и не муж в серой папахе. Он был молодой и такой же красивый, как сама Евгения Алексеевна, а в руках у него были цветы, завернутые в ласковую бумагу.

Колыванова, глядя на них, испытала счастье прикосновения к прекрасной жизни, — как в кино, как в театре, как в Царствии Небесном, о котором все рассказывала их деревенская бабушка, простая и глупая.

И она представила себе, как они сидят за столом и едят обед из двух тарелок сразу, а Настя подносит им пирожки на блюдечках, а они пьют ярко-красное вино из тех бокалов со стеклянными шариками на ножках, и все это происходит непременно в той красивой комнате у Лильки. И никакого хихиканья, возни, кряхтенья, которое разводит их мамка со своими полюбовниками. Никогда, никогда... Может, только поцелуют друг друга, красиво запрокинув головы...

Таня стояла на порядочном расстоянии, припрятавшись за мраморной полуаркой. Люди шли довольно густо, и она быстро потеряла их из виду.

В школе в январе и в феврале происходили разные события: сначала был пожар в котельной и три дня не учились, пока не наладили топку, потом умерла недавно вышедшая на пенсию бывшая немка Елизавета Христофоровна, которую хоронили почему-то чуть не всей школой, потом семиклассник Козлов упал с пожарной лестницы и сломал сразу обе ноги и, наконец, директорша Анна Фоминична уехала в составе учительской делегации в Чехословакию, а потом приехала, рассказала на общешкольном собрании о братской Чехословакии и дала адреса чехословацких пионеров, и вся школа, как сумасшедшая стала писать им письма. А потом устроили конкурс на лучшие десять, отправили их и стали ждать ответов.

Тут уже начался март и все стали готовиться к Международному Дню Восьмого марта. Родительница Плишкина опять собирала деньги на подарок классной руководительнице. Колыванова попросила у матери десятку, но мать была злющая, денег не дала и обругала. Сестра Лидка обещала дать с получки, но получка была пятнадцатого, а та, что была

первого, уже вся ушла. Танька плакала три дня (вечера) подряд, пока мать не пришла веселая, выпившая, с Володькой Татарином и не дала ей десятку.

С утра Колыванова собиралась сдать десятку Плишкиной матери, которая приводила по утрам свою Плишеньку и собирала в раздевалке деньги. Но поскольку Колыванова уже успела объяснить ей, что денег мать не дает, то с нее уже и не требовали. Целый день она скучно сидела на своей задней парте. Немецкого в тот день не было, и вообще была суббота, немкин выходной, так что и на перемены Таня из класса не выходила: интересу не было.

Последним уроком было рисование. Рисовали из головы корзину с цветами и подписью на красной ленте «Поздравляю маму...». Колыванова ничего не делала: во-первых, карандашей не было, во-вторых, училка Валентина Ивановна была толстая королева, сидела за столом и никого не проверяла. Колыванова скучала, скучала, а потом вдруг ее озарила великая идея: купить Евгении Алексеевне настоящую корзину цветов, как дарят артистам, и подарить тайным образом, но от себя лично, а не общественным способом.

Едва досидев до конца урока, понеслась Колыванова на улицу Горького, где был известный ей цветочный магазин, в витрине которого она видела такие корзины. На этот раз никаких корзин в окне не было, все было забрано слоистым морозовым узором, и она вошла в маленький магазин. Корзины стояли во множестве, и откуда они здесь взялись посреди зимы, даже представить себе было невозможно.

Старый розоволицый мужчина в круглой барской шапке с бархатной макушкой выбирал цветы, продавщица все ему приговаривала:

— Дмитрий Сергеич, Вера Иванна больше всего любит гортензию, гортензию ей всегда посылают...

Мужчина, сильно похожий на кого-то знаменитого, богатым голосом отвечал ей:

— Милочка моя, да Вера Иванна гортензию от геморроя отличить не может...

Колыванова под сурдинку шмыгнула к прилавку и обомлела: гортензия эта стоила 137 рублей, а та, что в корзине поменьше, — 88. А самые дешевые цветы в корзине, красные и белые, на длинных гнутых стеблях и не такие уж пышные, все равно стоили 54... Но десять-то уже было!

Не теряя времени, Колыванова поехала в Марьину Рощу к родственнице своей безрукой Тамарке. У нее она надеялась выпросить недостающие сорок четыре рубля. Тамарка была дома и даже обрадовалась, велела поставить чайник. Таня сварила чай, покормила Тамарку с рук хлебом и колбасой и сама поела. Поевши, Тамарка сама спросила, зачем она приехала. — За деньгами, — честно призналась Колыванова. — Мне сорок четыре рубля нужно.

— А на что тебе столько? — удивилась Тамарка.

Колыванова понимала, что не надо бы говорить на что, но заранее она не придумала, а быстро врать не умела. Потому призналась, что учительнице на подарок.

— Я тебе родня, — рассердилась Тамарка, — к тому же и увечная, что-то ты мне подарков сроду не делала... Не дам тебе нисколько. Хочешь, заработай. Вот помоешь меня в корыте, да стираешь, тогда дам тебе, не столько, конечно...

Колыванова поставила на плиту два ведра с водой и стала ждать, пока согреется. Весь вечер она возилась с Тамаркой и ее бельем, которого был полный таз. Тамарка дала ей десять рублей, но отругала, что постирано нечисто.

Домой вернулась поздно. Мать была в ночную, а Лидка спала. Утром поговорить с Лидкой она не успела, потому что она очень рано ушла на фабрику. Только вечером следующего дня снова приступила Колыванова к сестре насчет денег. Лидка была умная, ловкая, но денег у нее на самом деле не было. Она пошла под лестницу, там висела дяди Мишина рабочая телогрейка, которая не раз выручала ее по мелочевке. Она пошарила в обоих карманах и принесла сестре горсть мелочи, больше двух рублей.

На кухне в тот вечер была драка. Тетя Граня из зеленого барака пришла ругаться с тетей Наташей за своего мужа Васю. Соседки собрались на кухне и мать Колывановых, Валентина, тоже там участвовала. Лидка велела Тане постоять при дверях, влезла в материну сумку, но в ней была одна большая бумажка в пятьдесят рублей, и больше ничего.

Был у Лидки в запасе еще один способ, но она сомневалась, чтоб Танька на него согласилась.

Но все же спросила:

— А если потараканят тебя?

— А сильно больно? — деловито поинтересовалась Колыванова.

Лидка задумалась, как бы верней объяснить:

— Мамка покрепче дерет.

— Тогда пусть, — согласилась Танька.

Переговоры Лидка решила провести немедленно. Надела серую козью шапку и пошла. Идти надо было рядом, в смежный двор, но вернулась она не очень скоро, зато довольная.

— Ну, обещал он денег-то дать, Паук-то, — сообщила она.

— Да ну? — обрадовалась Танька.

— Не так просто, — остерегла Лидка сестренку, — Потараканит тебя.

— А вдруг потом денег не даст? — встревожилась Танька.

— Так вперед взять, — надоумила опытная Лидка.

Танька, хоть была и маленькая, тоже хорошо соображала:

— Ну да сначала дадут, а потом отберут.

— Так вместе ж пойдем, я сразу возьму и унесу, — предложила Лидка.

Танька обрадовалась: так выглядело надежней.

— А сама-то ты к нему ходила? — спросила Танька сестру.

— Когда еще было... — отмахнулась Лидка, — Когда мать Сашку рожала, в то лето. А потом она из роддома пришла, ей Нюрка сказала, что я к Пауку ходила, она меня выдрала, — напомнила Лидка. Я теперь этим не занимаюсь. Я теперь замуж выходить буду, — с важностью добавила она.

Таня кивнула, но без сочувствия. Она была занята своими мыслями: времени-то почти не оставалось, на завтра было шестое, и Лидка выходила с двух, а вечером надо было братьев забирать и вдвоем отлучиться им было невозможно. Идти же одна Танька боялась, хотя и знала, куда.

Пошли они седьмого, перед вечером. Жил Шурик Паук во втором этаже зеленого барака с матерью и с бабкой. Был он молодой парень, но порченный. Одна нога у него росла криво и была короче другой. Он и в армии не служил, и не работал толком. Был голубятником. В своем сарае с большой голубятней наверху он и проводил все время, ночевал там даже зимой, укрывшись тулупом и старым ковром. Он не пил, не курил. Говорили, что деньги на машину копит. И еще известно было, что он портит девочек. Сам он, смеясь редкозубым ртом, говорил, что ни одна девчонка из барачков от него не ушла. Взрослые девки дела с ним не имели.

Когда сестры Колывановы пришли к нему, он был сильно озабочен, усаживал в клетку полуживую птицу.

— Вишь, заклевал мне голубку хорошую. Затаптал всю, злой такой турман, — пожаловался он девочкам, которые вошли и сели у двери на один шаткий стул. Он возился с птицей минут десять, мазал ей поклеванную шейку, дул на розовую головку. Потом закрыл клетку и обернулся к ним:

— Лид, а Танька-то твоя дылда какая, я думал, маленькая, — заметил он.

— Она меня на три года моложе, а вот на столько выше, — объяснила Лидка положение вещей.

И правда, хотя Лидке уже исполнилось шестнадцать, она была небольшого роста, и Танька в этом году ее сильно переросла. Зато Лидка была просторная, с мясом, как говорила их бабушка, а Танька сухая как саранча.

— Че, тебе тридцать четыре рубля надо? — спросил он у Таньки.

— Тридцать два можно, — ответила Танька, вспомнив про два рубля серебром.

— Чтой-то холодно сегодня, — озабоченно вдруг сказал Паук и пошевелил задумчиво в кармане брюк, — А ты иди, иди, — обратился он к Лидке.

— А деньги-то? — спросила Лидка.

— А принесешь когда? — поинтересовался он.

— Пятнадцатого принесу, в получку, — пообещала Лидка.

— Ну ладно. А пока не принесешь, пусть она ко мне ходит, — он засмеялся. — Процент платить.

Он вынул из кармана целый пук мелких денег и отсчитал тридцать два рубля трешками и рублевками. Лидка не постеснялась, пересчитала.

— Иди себе, иди, — велел ей Паук и она тихонько выскользнула в дверь. Танька с облегчением вздохнула: набрала она денег на свое дело, набрала...

Шурик еще пошевелил в кармане и спросил Таньку:

— Ну что, посмотреть-то на него хочешь?

— Нет, — улыбнулась простодушно Танька, — мне бы поскорее.

— Ну ладно, — не обиделся Паук, — сядь тогда на лестницу, вон туда, — он указал ей на третью перекладину приставленной к лазу на голубятню грубо сбитой лестницы. — Да валенки надень, надень, замерзнешь, — разрешил он, когда

увидел, как она стягивает из-под пальто кое-какую одежду и протягивает через нее голые цыплячьи ноги...

В тот учебный год, год слияния мужских и женских школ, зацветали даже сухие веники: сразу у двух учительниц сбежали мужья к каким-то, само собой, молоденьким сучкам, новый литератор Денискин влюбился в практикантку Тонечку и скоропалительно женился, незамужняя учительница рисования, которая ходила с большим животом последние десять лет, вдруг ушла в декрет, и даже Анна Фоминична, под насмешливыми взглядами всего педагогического состава, тяжело кокетничала с овдовевшим математиком. Дежурные выметали из классов бессчетные записочки, а одной девятикласснице из очень приличной семьи сделали аборт в роддоме как раз имени Крупской, за что Анну Фоминичну вызывали в РОНО и сильно прикладывали. Было еще много всяких тайных любовных вещей, про которые никто не знал.

В школе готовился большой вечер, посвященный Восьмому Марта, и Колыванова тот день прогуляла. Она ушла из дому утром, как обычно, но захватила с собой материнскую кошелку. Еще не было девяти часов, а она уже стояла у закрытого цветочного магазина, который открывался в одиннадцать. Она не напрасно пришла так рано: через час за ней стояло уже человек двадцать, а к открытию очередь выстроилась чуть ли не до Елисеевского.

Она сразу рванулась к кассе, и опять была первая. Цветы, которые она облюбовала заранее, как она теперь узнала, назывались цикламены, и были они трех сортов — белые, розовые и пронзительно-малиновые. Малиновые она и выбрала, хотя и не без колебания: розовые и белые ей тоже нравились.

Та же самая продавщица, которая советовала давешнему старику гортензии, красиво завернула корзину и помогла засунуть ее в кошелку.

Было начало двенадцатого, и она поехала на двух троллейбусах на дом к Евгении Алексеевне. Она поднялась на последний этаж, а потом еще на пол-пролета выше, к самому чердаку, и села там. Она знала, что ждать ей предстоит долго. Неудобство заключалось в том, что Евгения Алексеевна жила на седьмом этаже, а Таня забралась выше десятого и по неопределенному стуку лифта невозможно было догадаться, где именно он остановился.

Всякий раз, когда хлопала дверь, она спускалась на три этажа ниже посмотреть через проволочную сетку на седьмой, не идет ли Евгения Алексеевна. К обеденному времени, она видела, вернулась Регина со своей прогулочной теткой. Несколько раз приезжали какие-то дети и старые люди, но в другие квартиры. Хотелось есть, пить, спать, потом немного заболел зуб справа, но сам собой и прошел. Таня стала беспокоиться, не завяли ли цветы в корзине, она распустила сверху бумагу, но там, под бумагой, цветы были свежими и великолепными, только показались ей совсем темными и она пожалела, что не купила белые.

Потом дочку Регину снова повели на прогулку, а вскоре начало темнеть в окнах на лестничной клетке. Опять хлопнула дверь на седьмом этаже: это была серая папаха. Колыванова просидела еще минут сорок, прикидывая, что пора бы уже появиться Евгении Алексеевне. Она никогда не оставалась на школьных вечерах до самого конца, как другие учителя.

— Пора, — решила Колыванова, вытащила из кошелки завернутую в бумагу корзину и, прижимая к животу, снесла к дверям и поставила на самую середину коврового коврика. Потом она снова поднялась в свое убежище. Но ждать пришлось уже недолго, минут через пять приехала Евгения Алексеевна и Колыванова видела сверху ее рыжих лисиц и маленькую вязаную шапочку с витым шнуром. Она даже услышала приглушенный звонок, щелканье замка и недовольный мужской голос.

Теперь Таня заторопилась, бегом побежала к метро. В метро было светло и ярко, и все женщины несли веточки мимозы. Она представила себе корзину с богатыми бархатными цикламенами, с блестящими плотными листьями, и впервые в жизни испытала гордость богатства и презрение к бедности, — к жиденьким желтым шарикам с противным запахом. И еще было несказуемое чувство соучастия в прекрасной гармонии мира, которой она послужила: Евгении Алексеевне шли цикламены точно так же, как вся ее красивая одежда, как гранитные шары у ее подъезда, как усатый красавец, который встречал ее теперь в метро чуть ли не каждый день.

По-видимому, относительно молодого усача у генерала Лукина были совершенно другие соображения. Во всяком случае, когда он, взбешенный и мрачный, открыл жене дверь, он собирался спросить ее, где именно она шляется, обьявив,

что задержится на школьном вечере. Он заехал за ней в школу в половине пятого, поскольку ему принесли два билета на торжественный концерт в Большой Театр. Но в школе ее уже не было. Она сказала там больной и давно уехала. Вот именно куда же она уехала и хотел знать генерал Лукин, который сердцем ревнивца давно уже чувствовал дыхание измены.

Жена его вошла с растерянной улыбкой и с корзиной цветов:

— Представь, Семен, на коврике у двери корзина с цветами...

Но она не успела договорить, поскольку муж ее Лукин совершенно бабьим размашистым жестом закатил ей крутую оплеуху. Всей своей прежней гордой жизнью была она к этому не готова, не удержалась на ногах и упала, ударившись бровью об угол подзеркальника. Корзина тоже упала.

Он кинулся поднимать жену, но она отвела его руку и пошла, сбросив на пол лисью жакетку, сказавши ему через плечо единственное слово: Пеньки!

Это было то самое слово, которое она изредка обрушивала на него как топор, и название милой вятской деревушки, откуда он был родом, мгновенно обращало его в ничтожество, в подпаска, в деревенщину. Он почувствовал боль и стыд такие же острые, как недавний гнев. Раскаяние и неожиданная уверенность в невинности, даже какой-то горделивой невинности его жены, охватили его.

Она защелкнула дверь ванной. Он стоял в коридоре и, прижавшись щекой к двери, твердил едва не со слезами: Женечка, Женечка, прости! А Женечка, зажимая мокрым полотенцем кровоточащую ранку, морщилась от боли и злорадно, по-детски, твердила про себя: и буду, и буду, и всегда буду!

Корзина с цикламенами лежала на полу в прихожей и никак нельзя было сказать, чтобы она доставила Евгении Алексеевне большую радость...

Зато радость была у Кодывановой: неслась она в сторону дома так поспешно, потому что Паук велел приходить ей каждый день на отработку, и она, девочка послушная, и не думала отлынивать. Подошедши к его сараю, она обнаружила, что дверь открыта, а Паука нет.

Дома Лидка шопотом рассказала ей, что дворовые мужики за какие-то подлые грехи так сильно Паука изметелили, что его

сvezли в больницу. А голубятню, вместе со всеми голубями, разгромили...

Прошло много времени, прежде чем Паук снова появился во дворе, и денег ему сестры Колывановы так и не отдали. Растопталось...

Но счастье, — чего еще не знала Колыванова, — всегда сменяется горестями. Евгения Алексеевна в школе больше не появилась. Сначала она взяла бюллетень по травме, а потом очень скоро ее муж получил назначение военным советником за границу, и она отбыла в великую страну на востоке, где покупала себе шелк, нефриты и изумруды, а по штату им полагался повар, двое слуг, садовник и шофер, и все, разумеется, китайцы.. Про Колыванову она никогда в жизни и не вспомнила.

А бедная Колыванова долго тосковала. Потом любовь ее как-будто зажила. Девичьей жертвы своей она вовсе и не заметила, тем более, что кроме Лидки да Шурика Паука, никто и не знал. Один раз Евгения Алексеевна приснилась ей, но каким-то неприятным образом: как будто она подошла к ней на уроке и стала больно стучать по голове костяшками наманикюренных пальцев.

Новую учительницу немецкого Таня невзлюбила, но немецкий язык казался ей каким-то высшим, небесным.

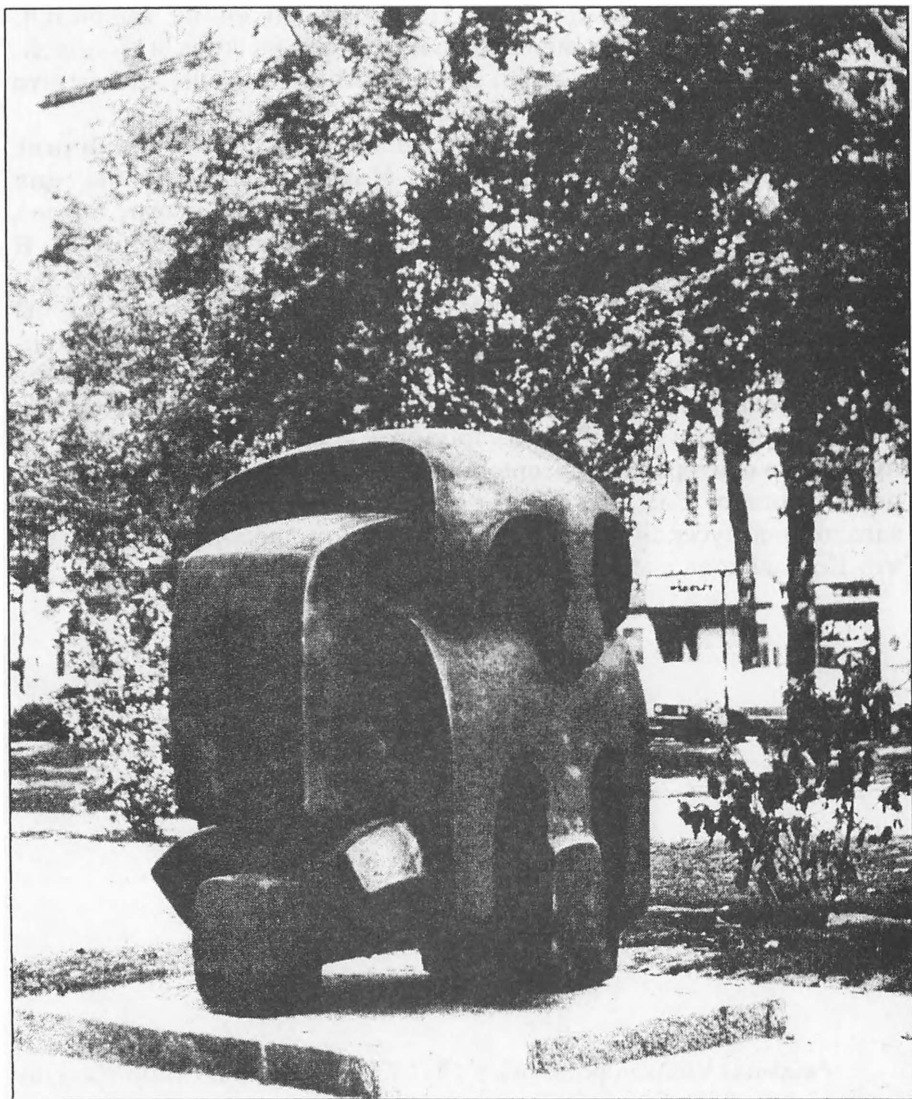
Два года Колыванова провела в тоскливой спячке. Все девочки в классе повзрослели и покругтели, одна она все росла вверх, как дерево, и стала в классе выше всех, даже мальчиков. Потом у нее неожиданно выросла хорошая грудь, серые волосы оказались вдруг пепельными, видимо, от мытья, потому что матери дали на фабрике двухкомнатную квартиру с ванной. Так она сделалась сначала симпатичной, а потом и вовсе красивой. Но мальчики на нее не смотрели, все привыкли, что она никакого интереса не представляет. Зато когда Анна Фоминична пригласила на Первомайский вечер слушателей из Высшей Партийной Школы, а именно любимых своих чехословаков, а те привели с собой всяких прочих коммунистических шведов, среди которых были болгары, итальянцы и один действительно швед, то этот швед пригласил Колыванову танцевать, но Колыванова отказалась, потому что не умела. Но швед все равно в нее влюбился. Встречал ее после школы, водил в кино и в кафе, разговаривал с ней по-немецки и привозил подарки. Она ходила к нему в общежитие

через трое суток на четвертые, когда дежурил его знакомый вахтер. Фамилия шведа была Петерсон, он ей не нравился, потому что был ростом меньше ее и с лысиной, хотя и молодой. Но он был не жадный, делал для нее много хорошего, так что она ходила к нему из благодарности.

Потом он уехал, и она не горевала. Вскоре она окончила школу, слабенько, на троечки. Мать хотела, чтобы она поступила на фабрику в канцелярию, там было место, но она захотела учиться и поступила в педагогический техникум. В институт посрамилась.

Петерсон писал ей письма, а через год приехал, чтобы жениться. Но сразу не получилось, с бумагами были сложности. Он приехал еще раз и все-таки женился. Вскоре Колыванова уехала в Швецию. Там она купила себе первым делом сапожки на белом каучуке, цигейковую шубу и пушистые свитера. Петерсона она не полюбила, но относилась к нему хорошо. Сам Петерсон всегда говорил, что у его жены загадочная русская душа. А бывшие одноклассницы говорили, что Колыванова счастливая.

Людмила Улицкая родилась в 1943 году в Сибири. По профессии генетик. Ее рассказы долгое время не печатались. Рассказ "Сонечка", напечатанный в 1992 году в "Новом мире", принес ей известность и был представлен на Букеровскую премию. Живет и работает в Москве.



«Треблінка»

Скульптор и график Вадим Сидур родился в 1924 г. в городе Днепропетровске на Украине. Сегодня это всемирно известный художник, создавший за свою тридцатитрехлетнюю творческую жизнь более 500 скульптурных и тысячи графических и живописных работ. Его выставки прошли в Швейцарии, Швеции, Дании, Великобритании, Польше, США. В одной лишь ФРГ прошло 20 персональных выставок Вадима Сидура, его работы установлены на улицах и площадях многих городов, о его творчестве написаны монографии, сотни статей, сняты телефильмы и сделаны радиопередачи. Сейчас, после тридцатилетнего молчания, окружавшего его имя в Советском Союзе, он наконец становится известен и своему народу.



С чего начался его путь в искусстве? С пластилинового неандертальца и сидящего в кресле Льва Толстого, которых он вылепил еще школьником? Или когда он, пятилетний мальчик, увидел в своем родном городе перед историческим музеем две грубые, стилизованные женские фигуры, сделанные в древние времена неизвестным скифским художником? Может быть, вспоминая о том детском впечатлении, через много лет, уже после войны, он вырубил из камня две женские фигуры — „Троль сидящий“ и „Троль лежащий“. Материалом для них и для еще целого цикла работ, таких, как, например, „Головы слепых“, послужили известняковые блоки от разрушенной ограды небольшой пятиглавой церкви „Никола в Хамовниках“, где венчался в свое время Лев Толстой и стоящей как раз напротив его мастерской, его подвала, на Комсомольском проспекте в Москве. Вылепленный в детстве пластилиновый Толстой и „Тролли“ из камней церковной ограды, где венчался великий писатель.

1941 год. Вадим Сидур закончил девятый класс, и в том же месяце началась война. Вместе с родителями он оказался в эвакуации,

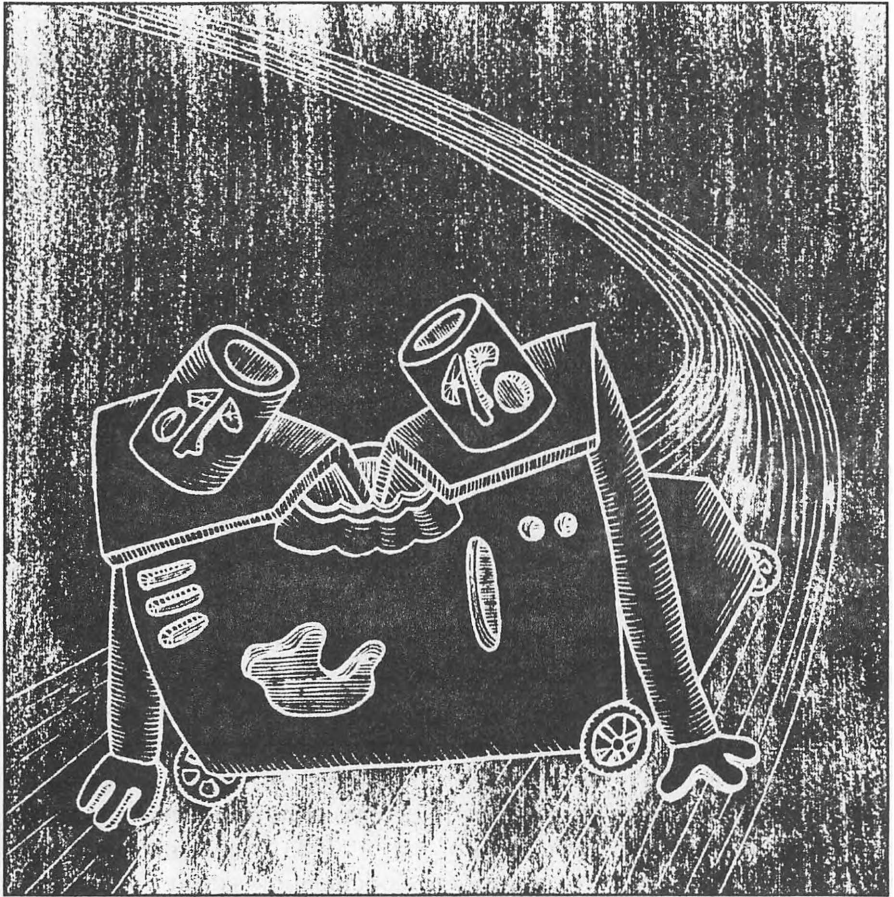
откуда был призван в армию и, окончив военное училище, командиром пулеметного взвода попал на фронт.

Он должен был быть убит на войне. Разрывная пуля немецкого снайпера, попавшая ему в лицо, должна была быть смертельной. Но произошло ЧУДО ИЗ ЧУДЕС — окровавленный, забинтованный, но живой, он вернулся домой, хотя и остался изуродованным инвалидом на всю жизнь.

Затем были годы лечения в госпиталях, один год учебы в медицинском институте в Душанбе, учебы в Московском высшем художественно-промышленном училище (б. Строгановское), которое он окончил в 1953 году, став профессиональным художником. После фронта, бесконечной вереницы больниц, где ежедневная смерть, которую видишь, как говорится, лицом к лицу, становится нормой жизни, после этого перевернутого мира, обычная мирная жизнь с ее бытовыми радостями воспринималась им как что-то ненормальное, была для него постоянным счастливым чудом. В его первых работах, жанровых скульптурах 50-х годов, небольших керамических фигурах мужчин и женщин, девушек на пляже, влюбленных, матерей с детьми, чувствуется нежность и лиризм, подсознательное, может быть, желание забыть тот кошмар, который ему пришлось пережить.

1961 год. Инфаркт. 37 лет Вадиму Сидуру исполнилось в больнице. Происходит поворот в сознании художника: появляется острое ощущение, что жизнь кончена, что он МОЖЕТ НЕ УСПЕТЬ. Он должен рассказать о том, что видел, что испытал. Появляются новые, совершенно непохожие на предыдущие работы: человеческие тела, даже не тела, обрубки тел, иногда без рук, без ног — цикл „Инвалиды“, который он будет продолжать всю оставшуюся жизнь. Новая тема требует новой формы: начинается поиск своего собственного, неповторимого пластического языка. „Художник должен говорить на языке своего времени“, — сказал позже в интервью Вадим Сидур. Работы становятся все более условными и лаконичными. Такие вещи как „Памятник погибшим от насилия“, „Памятник погибшим от бомб“, „Памятник погибшим от любви“, „Треблинка“ делаются настолько обобщенными, что превращаются в символ, знак, формулу. Одна из работ так и называется: „Формула скорби“.

Рождение и смерть. Любовь. Страдание. Насилие во всех его проявлениях — это темы, вечные темы, проходят через все периоды творчества. Работа „После экспериментов“ (из цикла „Препараты“ —



вылепленный из глины чан, такой, как стоят в анатомических лабораториях, с торчащими оттуда обрубками человеческих тел, звучит предостережением против генетических, ядерных, экологических и всех прочих экспериментов над природой и человеком, проводимых во все больших масштабах без учета возможных последствий. Такой итог может быть для всей планеты, предупреждает художник. Об этом дне безмолвно вопиют, воздев вверх металлические руки, „Железные пророки“, сделанные мастером из деталей автомобильных моторов и канализационных труб.

Если после Второй мировой войны еще были уцелевшие, хотя и искалеченные люди, то что оставит после себя Третья? Выживет ли кто-то. или погибнут все? Каким должно быть ИСКУССТВО ЭПОХИ

РАВНОВЕСИЯ СТРАХА, когда большие государства уже достигли, а малые достигают апогея в запугивании друг друга сверхъестественным по разрушительной силе оружием? Вадим Сидур создает „ГРОБ-АРТ“, цикл, может быть, даже новое направление в искусстве: деревянные ящики, гробы, в которых лежат подобия людей, сделанные, как и „Железные пророки“, из частей моторов, станков, труб — отходов человеческой цивилизации.

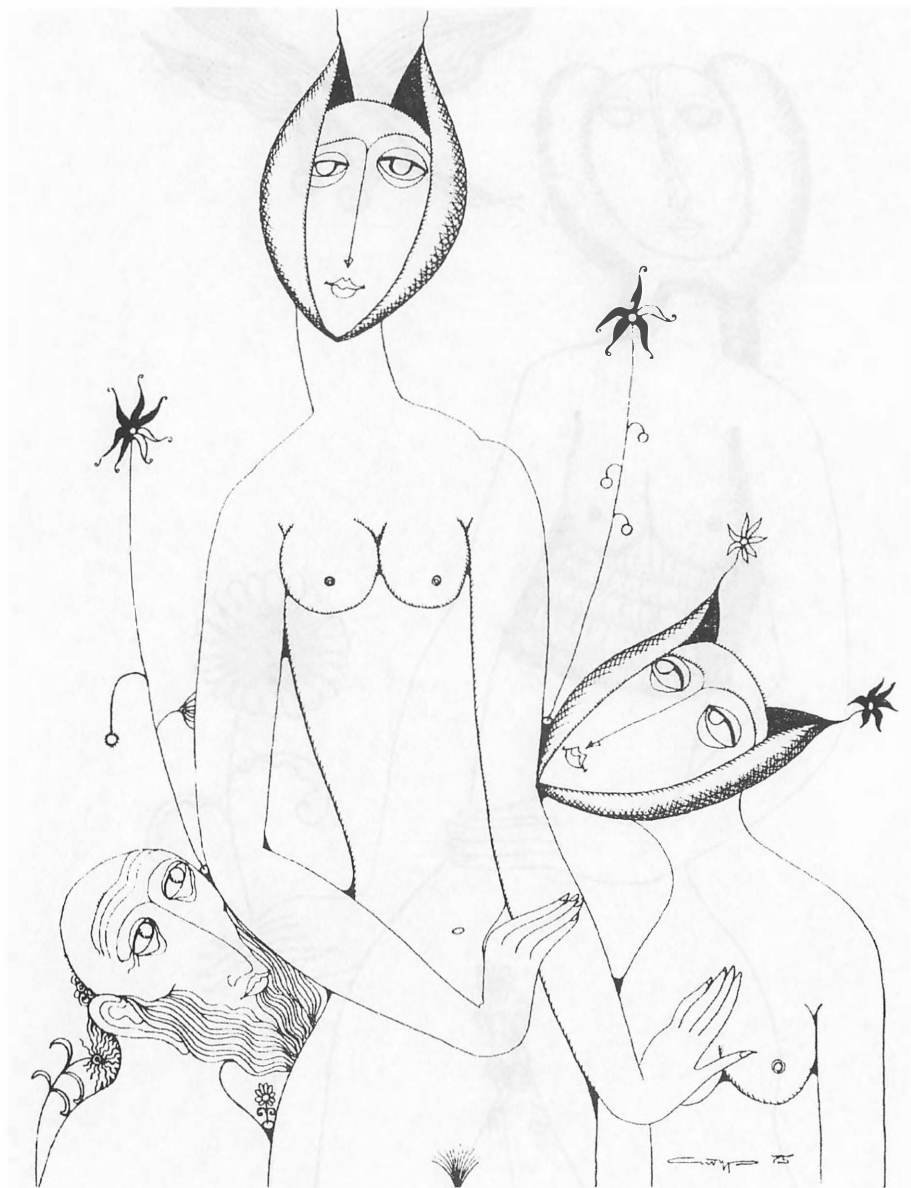
Портрет Альберта Эйнштейна. Своими скульптурными средствами художник передал всю фантастичность теории относительности — искривление пространства, времени, создав одновременно портрет реального человека. Эйнштейн у Сидура как двуликий Янус: в фас — ученый-творец, созидатель, а задняя сторона — искаженное ужасом лицо человека, создавшего самое страшное и разрушительное в мире оружие и ужаснувшегося своему открытию.

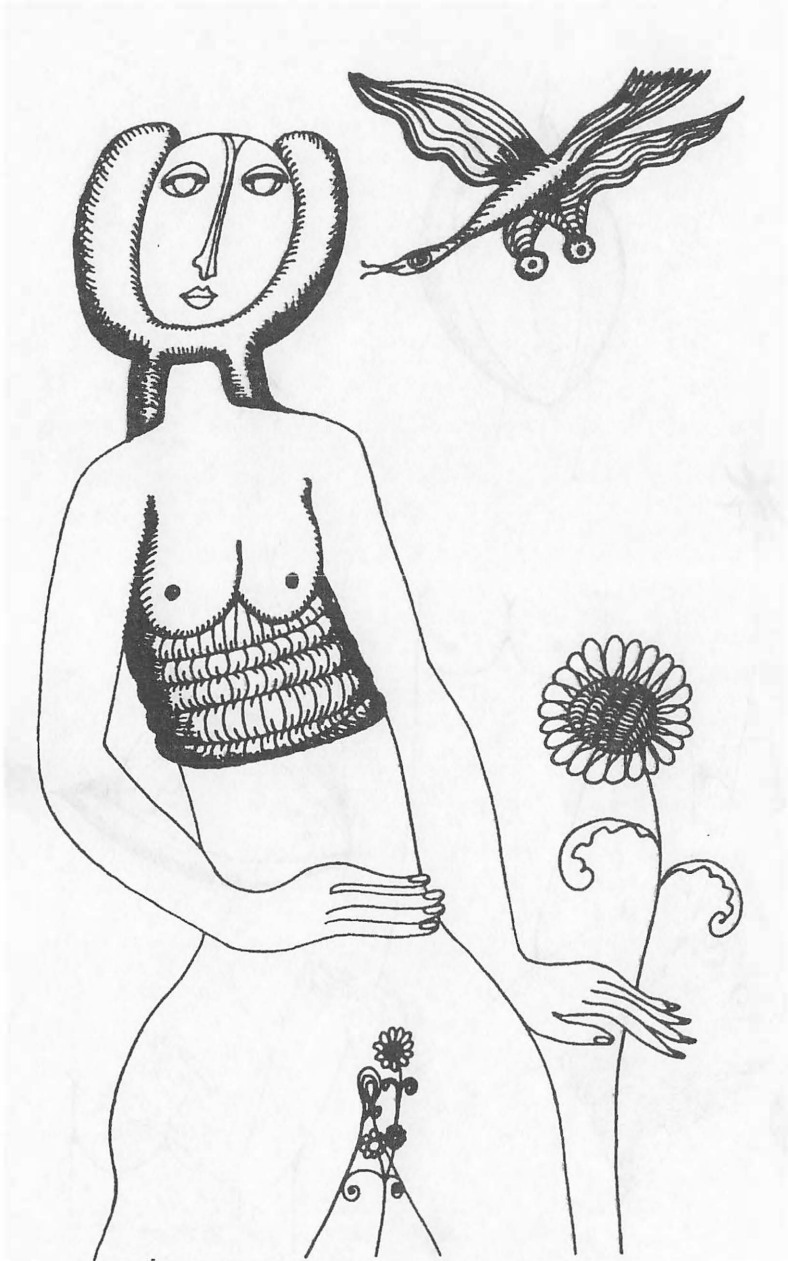
Вадим Сидур носил в себе два мира. В те же годы он создает яркие, красочные, очень жизнерадостные рисунки и живописные работы, он сохранил то послевоенное изумление и восхищение чудом жизни, которое надо уберечь во что бы то ни стало, создав скульптуры „Материнство“, „Мать и дитя“, „Отец с сыном“, „Семья“, циклы „Женское начало“, „Мой гарем“.

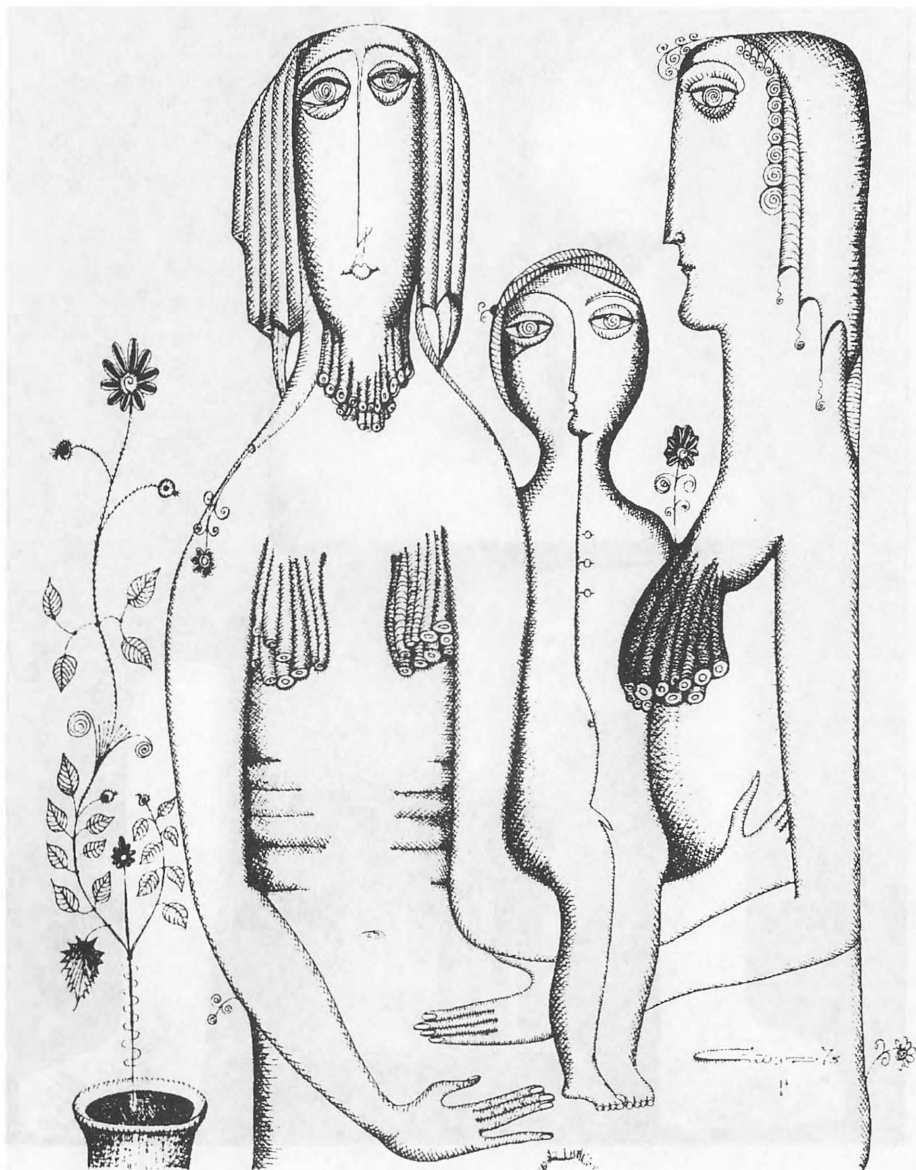
Созданный им в 1979 году „Взывающий“, стилизованная человеческая фигура со сложенными рупором руками, которая была установлена в 1985 году в Дюссельдорфе, звучит как призыв к сотрудничеству, миру, дружбе, сохранению жизни. Этот памятник, как и стихотворение из написанного им в 1983 году цикла „Самая счастливая осень“, звучит как итог его собственной жизни:

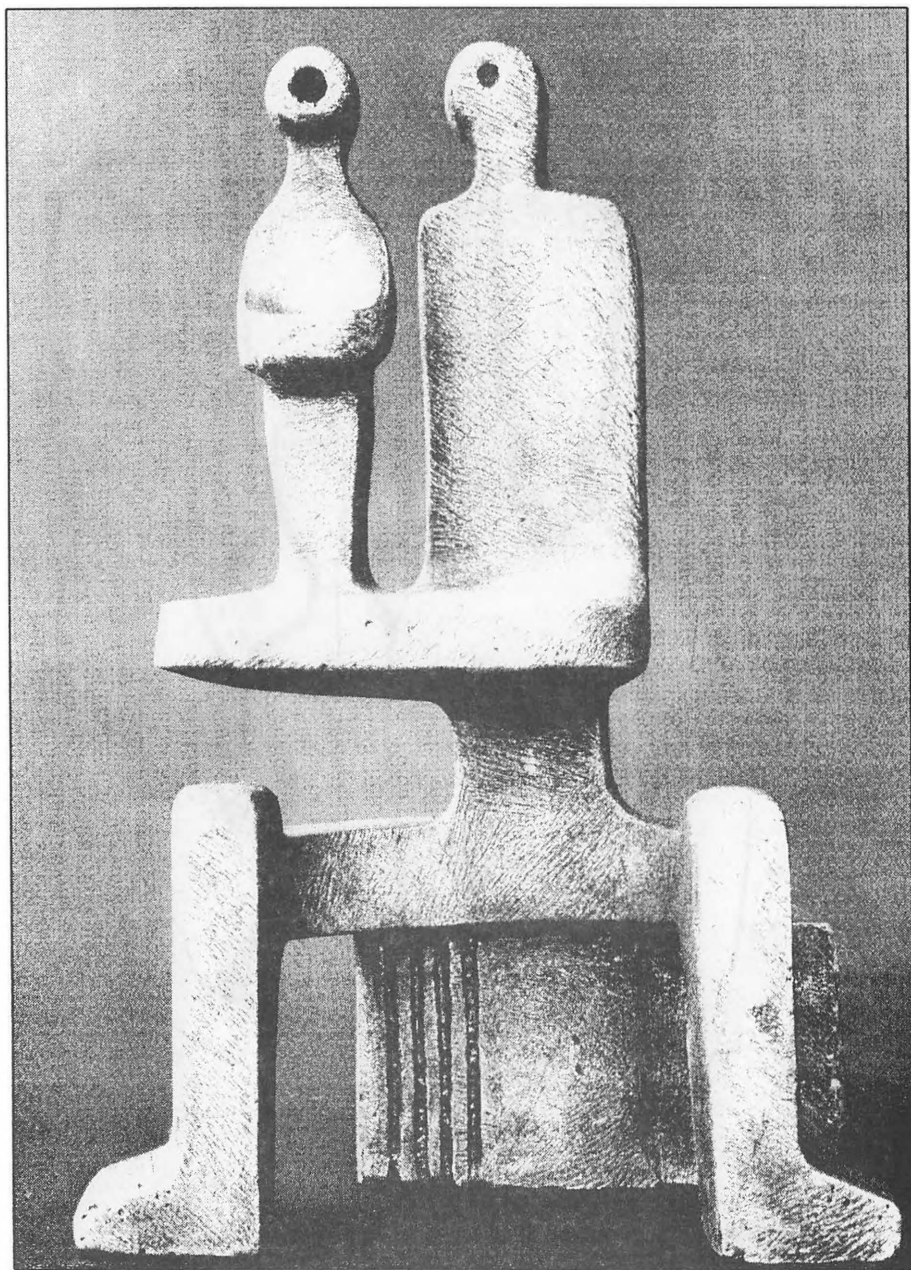
*Я раздавлен
Непомерной тяжестью ответственности
Никем на меня не возложенной
Ничего не могу предложить человечеству
Для спасения
Остается застыть
Превратиться в бронзовую скульптуру
И стать навсегда
Безмолвным
Взывающим*

Михаил СИДУР

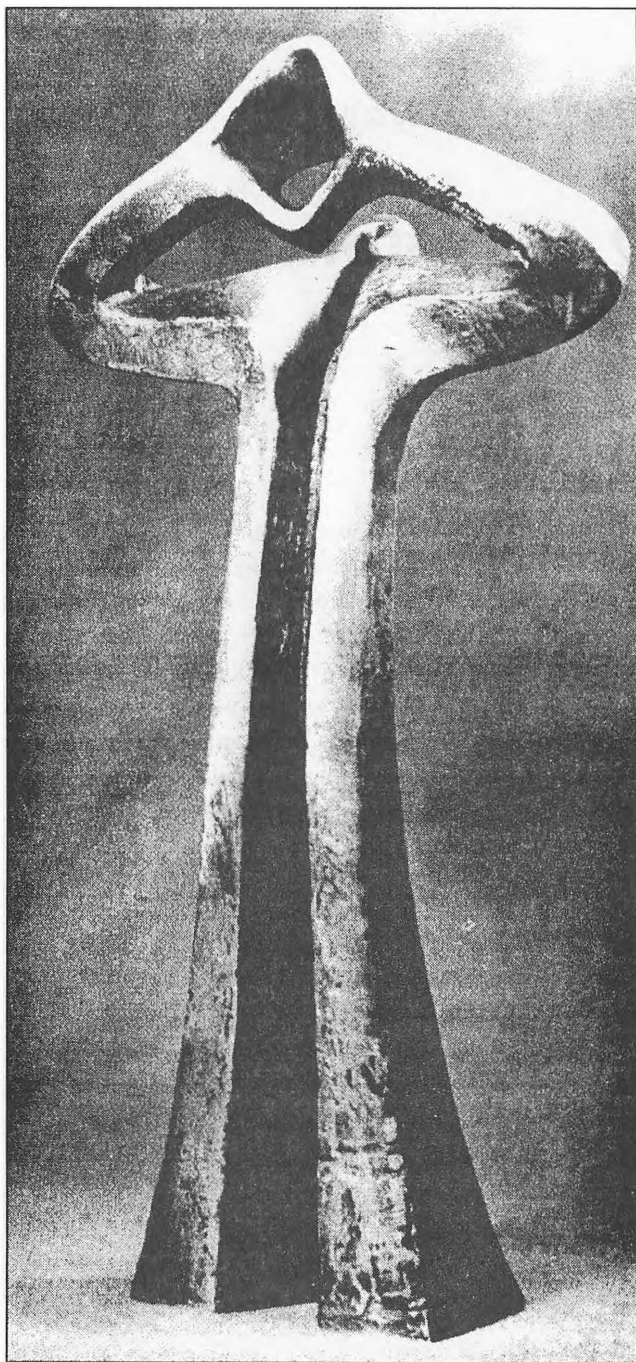








«Отец и сын»



«Взывающий»

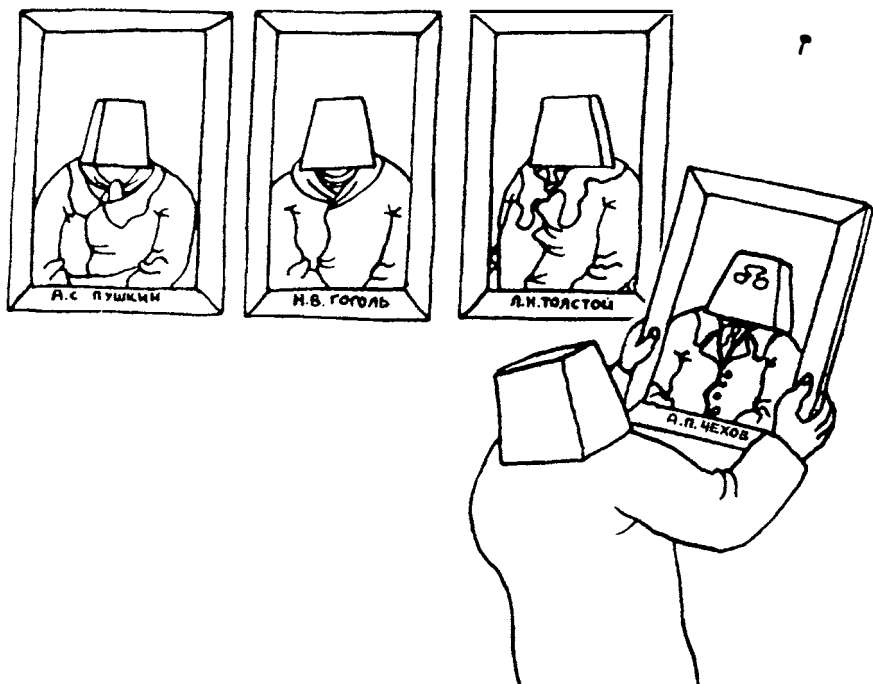
Вячеслав Пьецух

◆ ТЕЧЕНИИ ЯЗЫКА

Эссе

Это, в сущности, загадочно, даже странно, что язык не стоит на месте, что он развивается, как живой, тем более нам не всегда понятно, в каком направлении и зачем. Конечно, можно предположить, что язык вырождается или совершенствуется постольку, поскольку вырождается или совершенствуется общество, человек и условия его жизни, однако в связи с этой гипотезой вот что вызывает недоумение: давным-давно ушли из нашего обихода такие милые архаизмы, как «поелику», «оные» и «дондеже», а между тем подъячий семнадцатого столетия был нисколько не нравственней муниципального чиновника наших дней, и новейшие философы отнюдь не умнее Лейбница. А вот бытование хомо сапиенс стало намного удобнее, веселей, нежели прежде, до изобретения ватерклозета и «чертова колеса», но язык летописца Нестора куда колоритнее слога «Истории КПСС», хотя между «Повестью временных лет» и большевистским талмудом наблюдаются многие обидные параллели. Одним словом, темна эта область — течение языка, прежде всего потому темна, что, кажется, было бы намного естественней и понятней, если бы речь давалась нам неизменной, однажды и навсегда, ибо у человека испокон веку один нос, два уха, четыре чувства и двадцать пальцев, ибо человек издревле страдает, творит, безумствует по более или менее общему образцу.

Но, во всяком случае, ясно, что течение жизни заметно медленнее, чем течение языка. Ведь, в сущности, Лев Николаевич Толстой



— наш старший современник, всего-навсего восемь лет не доживший до социалистического реализма, и это в нашу общественно-технологическую эпоху были задействованы радиоволны и шестиградусный «угол атаки» для искусственного крыла, и как народо-вольцы завели у нас кровавую смуту, так мы по сей день не можем прийти в себя, то есть всего-то и пройдено исторического пути, что от лампочки Яблочкова до «лампочки Ильича», а между тем стряслась «культурная революция», в результате которой писательство сделалось занятием общедоступным, как катание на коньках; между тем народный речевой строй стал нецензурен, по крайней мере, процентов на пятьдесят, исчезли из обращения «пельцин», «спинджак», «ась» и многие грациозные обороты, как-то «Не угодно ли пройти в часть», люди на улицах обращаются друг к другу, исходя из вторичных половых признаков. Наконец, русский человек начала нынешнего столетия наверняка не понял бы сегодняшнего русского

человека, если бы последний, например, первому сообщил, что по поводу недавнего саммита бизнесмен Кукушкин дал колоднику Подушкину эксклюзивное интервью. Впрочем, у нас с Петра I любили „В конце письма поставить Vale“, а то вернуть забубенный галлицизм, да еще русские города пестрели вывесками, писанными латиницей, и если бы не пьяные мастеровые, не деревянные заборы и не хрюшки, пасущиеся где ни попадя, то еще призадумался бы сторонний наблюдатель: а подлинно ли это русские города... Стало быть, имеются и константы, от которых отправляется течение нашего языка, и одна из них, гадательно, — пренебрежение чудесами природной речи, некоторым образом лингвистический комплекс неполноценности, точно мы снабжены не изящным и всемогущим средством общения, восходящим к древнему санскритическому истоку, а каким-нибудь жалким наречием, до того хилым и угловатым, что нельзя пригласить на чай, чтобы это не было принято как вызов на поединок. Стесняется своего языка русский, так сказать, окультуренный человек — вот в чем загадка, на которую нет ответа, и с непонятной настойчивостью якобы облагораживает отчий словарь за счет иноземных, приемных слов, хотя у него своих собственных «вагон и маленькая тележка», как мерили изобилие в старину. Ну, действительно: зачем говорить «путана», если есть сильное русское слово — «блядь»?

А разве мыслимое это дело, чтобы при французском дворе двести лет разговаривали по-китайски, между тем при дворе Романовых двести лет разговаривали по-французски да еще находили в этом высокий вкус. Стыдобища, конечно, и вдвойне стыдобища по той причине, что если у нас, русаков, и есть чем похвалиться перед миром, так только нашим удивительным языком, в котором имеется пропасть средств для выражения самых причудливых мыслей, самых микроскопических движений души, самых изящных чувств. Чего стоят одни наши междометия, иной раз содержащие больше смысла, чем основательная политическая программа, а очарование нашей фонетики, похожей на неясное очарование чисто славянских физиономий, а самодовлеющие знаки препинания, а прелесть суффиксов и частиц... Интересно, что, кроме всего прочего, русский язык умен: у нас потому и серьезных философов никогда не бывало, что русский язык сам по себе философ, пусть даже философия преимущественно ругательного направления. В одном нашем предложении, ну например, «...было так сыро и туманно, что насилие рассвело,» может уместиться небольшое

эстетическое учение; недаром стоит нам сказать «ничего» в ответ на вопрос «а тебе не страшно?», как за этим «ничего» сразу встает мировоззрение целой нации, недаром такой отвлеченный образ, как «мальчик без штанов», выведенный Салтыковым-Щедриным, способен вскрыть подноготную русской жизни. Вдобавок наша речевая стихия — именно что стихия, то есть родная речь не знает своих границ, весьма прихотливо развивается изнутри, а главное, она вместительна, многомерна до своего рода неопределенности в отличие от многих устоявшихся языков, которые недвусмысленны, как зубило. Потому-то русские писатели и произвели на свет божий изощренно художественную литературу, беспримерную по своей силе и глубине, что они владели идеальным аппаратом для операции на душе. Потому-то, кстати заметить, русский человек — чересчур собирательное понятие, почти как млекопитающее или космос, что у нас все по-разному разговаривают в связи с избыточными возможностями языка; ведь в России почти у каждого свой язык, из-за чего мы столетиями и не вылезаем из междоусобиц, и это еще бабушка надвое сказала — оттого ли у нас наблюдается такой филологический разнобой, что слишком разные русские встречаются среди русских, или как раз в связи с большими возможностями языка между русскими водятся различные люди: политики, шоферня, уголовники и так далее, которые разнятся до такой, чуть ли не этнографической степени, что знающие слово «самодовлеющий» почти не понимают тех своих соплеменников, которые говорят «чирик» и «замочу». Похоже скорей на то, что русский язык несет в себе мощное воспитующее начало, способное возвысить или уронить человека в зависимости от его речевой среды. Иначе нам никак не истолковать тот факт, что хорошие люди у нас объясняются живописно и горячо, а жулики, в диапазоне от наперсточников до партийных функционеров, объясняются кое-как, через пень-колоду, точно они скрытые иностранцы или даже пришельцы с других планет. Конечно, на это можно возразить известной марксистской формулой: «бытие определяет сознание», сиречь качество жизни всегда обуславливает качество языка — но тогда педагогика не искусство, опирающееся на слово, а чистое надувательство, и нас с колыбели воспитывает не родительское наставление, а вкус микстуры и перепады температур.

Да еще необходимо принять в расчет, что на Руси качество жизни и качество языка — это примерно одно и то же, недаром у нас самые

жизнерадостные люди — говоруны, будь они хоть чернорабочие, хоть пропойцы. Одним словом, в России язык делает человека, отсюда, видимо, и пошло: русский язык свободен, и русский мужик свободен, до безобразного свободен, даром что он тысячу лет прозябал в рабах; русский язык щедр, и русский мужик щедр, до бессмысленного щедр, несмотря на то, что он всегда был беднее церковной мыши; русский язык хитер, и русский мужик хитер, до стоицизма домашней выделки хитер, иначе он не сдюжил бы ига кровавых своих владык; русский язык не любит застывших форм, и русский мужик не любит застывших форм, особенно в области государственного устройства.

Касательно последнего пункта: наш народ оттого, видимо, склонен к бунту, что он никогда толком не понимал кровавых своих владык. И действительно, так просто не разберешься, что бы такое могла означать «диктатура сердца», или какой тайный смысл заключен в призыве «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а «экономная экономика» — это что еще за темная каббала... В свою очередь, власть предрержащие не понимали простонародья, правда, не столько из-за того, что оно преимущественно оперировало «низким штилем», сколько из-за того, что легко мирилось с надругательствами, бунтовало по пустякам и было доверчиво, как дитя. Русскую интеллигенцию наши владыки тоже не понимали, даже она-то, главным образом, и ставила их в тупик, потому что, во-первых, последовательно боролась против собственных привилегий, а во-вторых, представляла собой как бы отдельную нацию, самочинно сложившуюся из природного материала, которой для полноты впечатления не хватает только государственной символики, территории и гражданства; а так и лицом, и одеждой, и душой, и мыслями, и особенно языком русский интеллигент отличался от прочих подвидов русского человека, как дзэн-буддист от адвентиста седьмого дня. Таким образом, широк, слишком широк отчий язык, и сколько его ни сужай, хотя бы до словарного запаса кладбищенских сторожей, все равно средств для того, чтобы написать «Женщину в белом», с избытком хватит.

Как известно, богатством нашего словаря мы обязаны кое-каким особенностям русского национального характера и прежде всего такой его составной, как всемирность, по определению Достоевского, то есть широте душевной, редкостной восприимчивости, способности

сочувствовать населению Оранжевой республики, как родне, открытости пред культурными навыками иноземцев, которыми мы по разным уважительным причинам были обделены. У тюрков мы позаимствовали «собаку» и «деньги», у варягов — «меч», «щит» и «кнут», у монголов хана Бату — глагол «бузить» и множество существительных, включая неприличные, у германцев же и романцев мы переняли едва ли не половину понятий современного языка, от «скверного» и «директора» до «поганого» и «прогресса». В такой необузданной переимчивости, по существу, нет ничего зазорного, обидного для национального самосознания, поскольку культуры издревле строились в теснейшем взаимодействии меж собой, и вот все нынешние романо-германские языки круто замешаны на латыни, но это обстоятельство не кручинит ни итальянцев, ни англичан. Правда, мы сами дали Западу только «интеллигента», и почему-то Запад гнушается нашей «душой», предпочитая пользоваться «сознанием» — ну разве что действительно прав Паратов, хозяин «Ласточки», который выговаривал своему капитану-шведу за то, что у него «арифметика вместо души» и не знал оскорбления страшнее, чем «иностранец».

Впрочем, сдается, что мы уж слишком «всемирны», то есть переимчивы чересчур, то есть как-то небрежно, неразборчиво открыты для проникновения в русский язык иноземных слов, чему — заметим — волшебнo-вредительским образом способствуют наши склонение да спряжение, свободно переиначающие латинизмы на самый кондовый российский лад. В этом смысле особенно отличились русаки нынешнего столетия, которые начали с «оппортуниста», поскольку близкий по значению «халявщик» им, видимо, показался недостаточно терминологичным, и неслыханных прежде аббревиатур, вроде «главкосева», сиречь главнокомандующего Северным фронтом, продолжили нелепыми большевизмами и под занавес века до такой степени настойчиво баламутят родную речь, что это уже похоже на государственную измену. В другой раз, действительно, посидишь за телевизором с полчаса и придешь к такому удручающему заключению: классического русского языка больше не существует, его исподволь подменила подлинно что «смесь французского с нижегородским», ибо на каждое исконное наше слово приходится, по крайнем мере, пяток чужих. Хотя, телевизионная журналистика — подлый жанр, в том смысле этого древнего прилагательного, в каком

его прежде относили к происхождению и манерам, культура, бытующая где-то между народными гуляньями, комиксами и справочниками для желающих похудеть.

Тем не менее очевидно, что процесс европеизации и опрощения русского языка — процесс, что называется, объективный, не зависящий от воли культурного меньшинства, как чередование дней недели. По-настоящему обидно, что эта чума не миновала нашу литературу, во всяком случае, единственного современного русского писателя с мировым именем отличает бесцветный слог, неуклюжие новации в области существительных и крупные стилистические просчеты. Что же до злокачественных превращений общедоступной речи, то нужно надеяться: течение языка со временем исторгнет во вне все неорганичное, постороннее, как течение вод выбрасывает на берег различный вздор. Ведь нынешняя эпоха языкотворчества во многом сродни задорной поре Петровской, когда голландские да немецкие понятия взяли верх над лексикой праотцов: «прешпекты», «гошпитали», «музик» — это все приладилось, прижилось, потому что до Петра у нас по городам существовали главным образом кривоколенные переулки, народ лечился домашним способом, то есть водкой, и музыку заменял колокольный звон, а многие десятки заморских слов пришлось не ко двору и вскорости позабылись, собственно, по той простой причине позабылись, что не было в них нужды. Следовательно, есть надежда, что мы и теперешнюю смуту переживем.

Другое дело, что не всегда поддаются уразумению те причины, которые влияют на самостроительство языка. Например, непонятно, отчего в упорядоченные эпохи русская речь хиреет, взять хотя бы семьдесят лет так называемого социалистического строительства, когда на Руси и окрест все жило в скрупулезном соответствии с канонами марксистско-ленинской теологии, а язык запаршивел до такой степени, что чуть ли не академической нормой стал «наплевизм», «пожрамши», «перековаться» и «пролеткульт». А то возьмем эпоху царя Тишайшего, когда держава раскололась на никонианцев и староверов, бандит Степан Разин полстраны взбунтовал и самого помазанника Божьего едва не прибили на Красной площади, меж тем именно в это время допетровский язык достиг своего расцвета, и протопоп Аввакум Петров явил первые образчики русской прозы. С другой стороны, самую богатую литературу дало девятнадцатое

столетие, а в первые пореволюционные годы, отмеченные голодом и разрухой, наша изящная словесность впала в больной социалистический реализм.

Поскольку неясно, каким образом и почему внешние обстоятельства отражаются на течении языка, то не исключено, что у этого процесса имеется какой-то невидимый глазу двигатель внутреннего сгорания, который творит движение, исходя из своей собственной механики, мощности и ресурсов. Также не исключено, что этому движению есть предел, как и всякому движению в частности есть предел, как есть предел развитию технической мысли в области телефона, и когда русский язык достигнет максимума возможного по разделам красочности, густоты, грамматической стройности и насыщенности словаря, тогда, как по Марксу, закончится его предыстория и начнется история, которая, правда, вряд ли будет озаменована блестящими литературными произведениями, поскольку шедевры изящной словесности обыкновенно рождаются в мало-мальски взбаламученные эпохи. Видимо, недаром Западная Европа, вплотную приблизившаяся к идеалу общественного устройства, так оскудела на художественные таланты; вот, скажем, Бельгия — когда она переживала внутренние потрясения и отчий прах призывно стучал в сердца, были у фламандцев философия и литература, а как бытие утряслось в стадии развитого социализма, так только тем Бельгия и знаменита, что убийства там случаются раз в году. Вообще похоже на то, что в стратегическом отношении современные языки как бы завершают круг своего развития, склоняясь к формам чуть ли не доисторически примитивным, так как течение языка нынче устремлено ко всяческому упрощению, к максимуму смысловой вместимости при минимуме затрат на конструкции и слова. Во всяком случае, очень видно, как постепенно беднеет русский литературный язык: у кого теперь встретишь изящно-причудливый оборот вроде «административного восторга», сложно-подчиненный период хотя бы на треть странички, точку с запятой — чисто российский знак, какое-нибудь искрометное словцо на манер «облезьяны»... — все просто, обще и сообщительно, как в газете. И это еще слава богу, что русский язык развивается покуда по восходящей, поскольку по восходящей развивается наше общество, то есть от «очень плохо» к просто «плохо», если, конечно, не наоборот. Причем течение языка в русле литературы происходит не так стремительно, хотя уже не встретишь словечка «вчуже»,

бывшего в ходу еще накануне Великой Отечественной Войны, но в разговорном русле язык меняется на глазах: наши отцы говорили «дама», «кристально честный» и «развенчать», наши деды говорили «барышня», «портерная» и «рамолик», наши прадеды — «фрыштик» и «ваша милость», и ни первые, ни вторые, ни третьи не поняли бы нынешних «наехать» и «рэкетиры»; до того доходит, что за отпущенный ему срок человек переживает с десятков слов, как старших переживают, например, сейчас мы присутствуем при агонии прилагательных «чопорный» и «шикарный».

Итак, в каком направлении развивается наш язык — на этот счет существуют некоторые догадки, но даже на уровне предположения очень трудно решить вопрос, почему он развивается и зачем. Видимо, нипочему, видимо, низачем. По крайней мере, течение языка отнюдь не зависит от человека, а скорее человек зависит от течения языка. Ведь наш преподобный хомо сапиенс даже и не развивается, а в лучшем случае увеличивается прослойка людей, да и человеческое общество, кажется, не развивается, а находится в вечном броуновском движении, мечется искони от тирании Сарданапала к тирании Иосифа Джугашвили, от демократии римского образца к демократии британского образца. Так вот поскольку ничто не развивается, а язык развивается, разумно будет предположить, что Бог есть. Почему эта гипотеза представляется нам разумной: потому что по умственным возможностям современного человека Бог есть Слово, Библия так и речет: «Сначала было Слово, и Слово было у Бога, и это Слово было Бог», потому что нет ничего до такой степени отрешающего нас от живой природы, до такой степени обличающего в нас божественное происхождение, как завещанное нам слово, потому что язык есть магический аппарат, превращающий идеальное в материальное, как Бог превращает в материальные деяния идеальную свою волю. Бог — существо вечное и бесконечное, то есть бытующее вне развития, но зато развивается наше понятие о Боге, от Макоши до Христа, от веры в слово до веры в дело, от Спасителя, понятого как красота, до Спасителя, понятого, как смысл. Следовательно, течение языка находится в прямой зависимости от расширения общечеловеческих возможностей познания тайны тайн. Скорее всего дальнейшее развитие нашей речи будет склоняться в сторону все большей и большей евангеличности, именно простой образности, предельной смысловой емкости, вообще математической строгости,

которая позволяет сформулировать промежуточное постижение тайны, как поговорку, кратко и глубоко, правда, из языка уйдет самодовлеющая эстетика и драгоценный, но необязательный, в сущности, колорит.

А всего было бы лучше, если бы постепенно прекратилось течение языка, поскольку дальше может быть только хуже. Ведь и теперешняя наша литература даже в самом утонченном переводе не вполне доступна для чужака, и оттого по-прежнему мы как бы таим в себе загадку, которая интригует культурного чужака, хотя вся загадка состоит в том, что мы не знаем, чего хотим. Ведь и так нам известно о Боге много, может быть, слишком много, больше того, что необходимо для спасения наших душ. И откуда еще русское слово властно над человеком — по крайней мере, у нас можно избежать насильственной смерти, если убийце сказать «браток». И коли мы чем-то интересны самим себе, так только тем, что способны часами упиваться родимой речью, независимо от того, насколько свежа и ветвиста мысль, стоящая за словами, а просто знай себе говорим ночь напролет, пока не поляжем где кто сидел под воздействием известного сопроводительного напитка. У нас потому и трудно найти такого психически нормального человека, который в молодости не баловался бы пером, у нас потому и писателей, как собак нерезаных, что русский язык — готовая литература, и неокрепшее сознание верит в то, что от себя ничего особенного не приходится сочинять, что как ни пиши, все равно выйдет «Война и мир».

Ну, «Война и мир», положим, не выйдет, но «Женщина и белом» по силам самому отъявленному графоману, который умеет составить из десятка слов одно вразумительное предложение.

Озорные мысли Вячеслава Пьецуха, или наш человек в Германии

**С писателем Вячеславом Пьецухом
беседует Саади Исаков**

С.И.: — Вячеслав Алексеевич, Вы уже не в первый раз приезжаете в Германию. Каковы Ваши впечатления? Только, если можно, первые, потому что существует поверие, будто они самые верные.

В.П.: — Первое, что я увидел, когда выглянул в окошко — дворик, почти московский. Природа мало чем отличается. Смотрю, выбегает собака. Для чего выбегает на улицу наша собака? Чтобы гадить и гоняться за кошками. Немецкая собака понюхала цветы и вернулась домой. Вот оно первое впечатление. А если серьезно, такое чувство, что живешь среди декораций, правда, выполненных по эскизам не самого замечательного художника.

С.И.: — Находясь в Германии, Вы не можете не сравнивать ее с Россией. Для русской литературы свойственно сравнение немецкого и русского. Нет такого писателя, который бы не отозвался о немцах. Делаете ли Вы такие сравнения?

В.П.: — Сопоставления естественны, это происходит само собой, так сказать, не специально, тем более, что наши народы очень многое связывает исторически. Продолжу свою предыдущую мысль. Мне кажется, что у всякого народа есть своя профессия. Профессию немецкого народа я бы определил так — обустраивать землю, делать ее удобной для жизни. Чисто, уютно, все на своем месте. У нас же грязь несусветная. На улицу выйти нельзя, хотя в домах очень чисто.

Въезжаешь в городок вроде нашей Рязани — я в этот раз больше по такому ездил — а как все ловко устроено. Полная самодостаточность. Когда это еще будет у нас? И будет ли вообще. Просто у русского народа иная профессия. Профессия русского народа — книжки читать. При этом бытует противоречие между чисто европейским образом мышления и совершенно азиатским способом внешнего бытия. Русский человек может быть рафинированным интеллигентом, в высшей степени культурным человеком и годами не чистить ботинки и ходить в рваных штанах. Вот такая дисгармония. Она обидна, она странна, но это данность. С ней бороться невозможно, как невозможно бороться с четвергом или метеорологическими осадками. Немецкая жизнь в целом, опять же на мой взгляд — сытая, деловая, не то чтобы глубоко осмысленная была жизнь. Позволю себе в этой связи высказать одну озорную мысль. Я думаю, что национальный вопрос издревле ставится в ошибочном ракурсе, поскольку на земле наций отнюдь не сотни, а всего восемь, и это не англичане, немцы, французы, русские и так далее, а крохоборы, бессеребренники, простофили, бандиты, работники. святые, мыслители, идиоты.

С.И.: — *Как Вы объясняете в свете новой постановки национального вопроса столь различное экономическое положение двух стран?*

В.П.: — Я думаю, что в связи с новой постановкой национального вопроса исторический процесс, или превращение прошлого в настоящее, а настоящего в будущее, есть, в частности, процесс изменения удельного веса одной или одних наций относительно другой или других. Стало быть, в Германии преобладают работники.

С.И.: — *Вячеслав Алексеевич, в Германии стало обычным делом говорить о загадочности русской души, чаще всего в том смысле, что «умом Россию не понять», неужели мы действительно какие-то особенные?*

В.П.: — На самом деле пресловутая загадочность русской души разгадывается очень просто: в русской душе есть все. Положим, в немецкой или какой-нибудь другой душе, при всем при том, что эти души несколько не мельче нашей, а, пожалуй, кое в чем основательнее, композиционной, как компот из фруктов композиционнее компота из фруктов, овощей и минералов, так вот при всем, что эти души несколько не мельче нашей, в них обязательно чего-то недостает. Например, над ними довлеет, как я уже говорил, созидательное начало, но близко нет духа всеотрицания, или в них полным-полно экономического задора, но не прослеживается восьмая нота, которая называется «гори все синим огнем», или у них отлично обстоит дело с чувством национального достоинства, но совсем плохо с витанием в

облаках. А в русской душе есть все: и созидательное начало, и дух всеотрицания, и экономический задор, и восьмая нота, и чувство национального достоинства, и витание и облаках.

С.И.: — *В Германии самая значительная в процентном соотношении после Израиля русская диаспора и самая многочисленная в физическом выражении. Есть уже миллион. Не кажется ли Вам странным, что она никогда не воспринималась всерьез?*

В.П.: — Действительно странно. Но этому есть объяснение, потому что большинство — этнические немцы, которые, что называется, вернулись на Родину, потомки саксонцев елизаветинского и екатерининского призыва. Но здесь они русские. Некоторые напрочь рвут со своими русскими корнями. Бог им судья. Но многие так и остаются верными традициям и языку. От русского языка в Германии никуда не деться. Можно всю жизнь прожить, не зная немецкого. Вспоминаю одного Шуберта, не того композитора Шуберта, (тут я позволю себе перефразировать Гоголя), а известного Шуберта, владельца магазина «Березка», который устроил себе в Германии маленькую Караганду с торговым ассортиментом как в сельпо лучших времен застоя: несколько сортов водки, кабачковая икра, конфеты, сушки, селедка, ну чуточку побогаче — есть астраханская вобла. И всегда полно народу. Мне такие люди бесконечно более симпатичны. Кстати, нашего человека видно сразу: идут наши подданные — и будто воспаряют. Немец же к земле прижимается.

С.И.: — *Вы встречались с читателями. Как Вам наша немецкая публика?*

В.П.: — Публика очень хорошая. Не знаю, соберу ли я сейчас где-нибудь в той же Рязани такую публику и в таком же количестве. Был приятно поражен — меня знают, обо мне пишут. Один пьецуховед из Мюнстерского университета свою дипломную работу подарил. В газете написали, что встреча с читателями прошла бурно, как профсоюзное собрание. Они не были у нас на вечерах в ЦДЛ. Я имею в виду прежние времена. А впрочем, какая она немецкая: обыкновенные интеллигентные люди.

С.И.: — *На одной из таких встреч Вам задали «трудный вопрос» о причинах падения читательского спроса. Сравнивая аудитории, вы невольно коснулись этого вопроса вновь. Видимо, он Вас волнует.*

В.П.: — Как писателя и главного редактора журнала он меня не может не волновать. Вопрос-то был сформулирован каверзно: не связано ли падение читательского интереса с тем фактом, что в России наконец-то начали работать и некогда стало читать? Дело в том, что русская национальная жизнь, как, впрочем, и всякая национальная

жизнь, в том числе и немецкая, жиднется на определенных константах, которым Бог весть сколько лет и которые, вероятно, не уйдут из русской национальной жизни никогда. В нашем конкретном случае это константы, как правило, тяжелые. Одна из них — это вечное противоречие между личной и общественной формами бытия. В огромном большинстве случаев русский человек живет конфликтом между «я» и «мы». «Мы» — это, как правило, не общество, это, как правило, государство. Вот сколько существует государство, столько же русский человек находится в оппозиции к нему, и спокон веков это нормальное положение вещей.

И при Иване Грозном русский человек был в оппозиции, и в настоящее время, несмотря на то, что по идее мы стали либеральным, демократическим, более или менее цивилизованным обществом. Так вот, как писатель, то есть как выразитель сугубо личных интересов, я бы ответил, что по мне бы лучше, пусть не работают. Но тут вступают иные мотивы, так сказать, гражданские. Надеюсь, я Вам ответил.

С.И.: — *И последний вопрос. Как Вы определите характер сегодняшних русско-немецких взаимоотношений?*

В.П.: — Русско-немецкий момент вообще очень сильно присутствует в нашей истории и культуре. Если не брать отдельные примеры, эти отношения были на пользу. В начале царствования Петра, когда Россия дошла до ручки, немцы внедряли у нас свою моду, лексику, стратегию с тактикой, мореходство, промышленность и науку, и в начале текущего века, когда, как и во времена древлянского князя Мала, брат опять встал на брата, немцы заочно учили нас строить Царство Божие на земле, и в настоящее время, не требующее отдельной характеристики, учат нас управлять экономикой и с выгодой торговать. И ведь не сказать, чтобы мы были закоренелые дураки, по крайней мере, немцы тоже накачали себе на шею злокозненных идеалистов — Гитлера и компанию. Ну не дал нам Бог заметных успехов в области менеджмента, парламентаризма, юриспруденции, ну и что?! Ведь есть же у нас великая музыка, великая литература, великий подвиг человека — русский интеллигент, хоть он землепашествуй, хоть бичуй.. Может быть, в этом наша миссия, наша духовная экспансия. Или хотя бы попытаемся объяснить, что это такое.

Оснабрюк 03.07.94

Анатолий Приставкин

Россия в камуфляже

Эссе

«Нас уводили по твердой в глубоких трещинах дороге, где цвели никем не собранные цветы, где зрели яблоки и щерились, уставясь на солнце, осыпавшиеся наполовину подсолнухи. И не было ни одного человека. Ни единого... За весь наш многочасовой путь не попалась нам ни подвода, ни машина, ни случайный путник. Пусто было кругом. Поля дозревали. Кто-то их засевал, кто-то пропалывал, убирал. Кто?.. Мы стояли перед входом в новую жизнь и не торопились туда войти. Отчего же в тот момент, я точно помню, так сильно болело у меня, да, наверное, не только у меня, внутри? Может от ужасной догадки, что не ждет нас на новом месте счастье. Впрочем, мы и не знали, что это такое. Мы просто хотели жить...»

Я привел здесь отрывок из своей повести: «Ночевала тучка золотая». События, описанные в нем, происходили пятьдесят один год назад, но и тогда, в начале восьмидесятых, когда я решил рассказать об этих событиях, сохраненных в моей памяти, я не догадывался до конца о той истинной трагедии, которую пережил маленький чеченский народ, по воле Сталина брошенный в холодные снега Сибири и Казахстана. До сих пор неизвестна точная цифра погибших, но утверждают, что из полумиллиона (640 составов) обратно на Кавказ вернулось около половины. Самые слабые, то есть женщины, дети и старики погибали еще дорогой, тяжелой и долгой, в товарных вагонах, без пищи и без воды. Но и тем, кто добрался до «места», выпала не- легкая судьба.

Однажды, во время съемок фильма по упомянутому произведению — а фильм снимался именно там, где происходили трагические

события, к нам в домик пришли два парня, два чеченца, они прождали меня весь день (я был на съемках), лишь для того, чтобы спеть одну чеченскую песню.

Мы встретились поздним вечером, почти ночью, наутро я должен был уезжать. Режиссер фильма Саламбек Мамиллов, ингуш, который сам в детстве пережил депортацию, попросил меня выслушать певцов.

«Они споют, а потом ты успеешь отдохнуть»,—сказал он.

Саламбеку было три года, когда его семью выселяли. Все погибли, а первым погиб семилетний брат, он зашел за вагон помочиться и был застрелен охранником.

Поздней ночью мы слушали певцов, пели они под гитару, это была странная, страшная песня про земляка, который возвращается из ссылки и везет огромные чемоданы... В песне спрашивалось: что ты, горец, везешь, какое богатство ты нажил на чужой земле? А горец отвечал, что ничего он не нажил на чужой земле, а везет он в двух чемоданах кости тех, кто не может уже сам вернуться, их захоронят на любимой на кавказской родине...

Мы слушали и плакали, и ни о каком там отдыхе речь уже не шла. Всю ночь мы проговорили о прошлом, о том, что досталось этому народу пережить.

Потом-то мне многие рассказывали, как в день Советской армии (символично, не правда ли!), это было 23 февраля 1944 г., жителей в селениях выводили на площадь, якобы для праздника, и не дав собрать вещи, даже побывать в собственном доме, грузили на машины и отправляли на ближайшие станции. Тех, кто не мог передвигаться, убивали на месте. Так в селении Хайбах больные, в том числе женщины и дети, были сожжены заживо, среди них три старика старше ста лет и два грудных младенца. Ну, а головы тех, кого вылавливали в горах как партизан для опоздания приносили в штаб, и полагалось за такой подвиг вознаграждение...

Интересно, какое же!

Да что там говорить о ссылке, которую помнит каждый чеченец, и старый и молодой, тут даже о кавказской войне в прошлом веке говорят так, будто она случилась вчера, и для любого чеченца имя царского генерала Ермолова звучит так же ненавистно, как ныне имя Грачева. Этот может быть твердо уверен, что памятника в центре города Грозного, как это было с Ермоловым, ему не поставят.

Неужто наших воителей в золотых погонах история, а тем паче литература, скажем, Толстой, так ничему и не научили?! Кстати, меня часто спрашивают: как же получается, что после повести, в которой вы описали трагедию сталинской депортации народов, такие же

военные продолжают убивать мирных граждан, оккупировав маленькую Чечню?

Что можно ответить?

Я писал роман вовсе не для Грачева и ему подобных, которые, кроме воинского устава да вышестоящих инструкций ничего в жизни, наверное, и не читали. Я писал повесть для тех мальчишек, которые ныне мерзнут в окопах под Грозным, с трудом понимая, куда и для чего их пригнали.

Я пытался облагородить их души, вызвать в них чувство сострадания, как и чувство неприятия любого насилия.

Хочется все-таки думать, что это мне удалось.

Возвращаясь к тем давним воспоминаниям детства, не самым светлым, повторяю, что мы тоже тогда не знали, зачем нас, детишек из далекой Москвы, забросили в эти суровые горы. Мы жили, затаившись, и слушали по ночам, как где-то ухают пушки, гремят бомбы, но мы, конечно, не знали, что там, в горах, идет настоящая война, о которой потом не будет написано ни строчки за все время советской власти. А вот таких легенд, что чеченцы, якобы, подарили Гитлеру белого коня с золотым седлом, я наслушался вдоволь, только не было этого, и быть не могло, ибо немцы в войну так и не дошли до этой республики.

Специально подготовленные войска МВД преследовали чеченцев, те нападали по ночам на гарнизоны, и в огне той войны погибли мои дружки-приятели, а сам я тогда уцелел чудом. Мне было двенадцать. Может быть, Господь сохранил мне жизнь, чтобы я смог об этом когда-нибудь рассказать?

А вот последний из партизан, из тех смельчаков, что бросили вызов Сталину, выполз из горных пещер, как рассказывают очевидцы, аж в 56-м году. Тогда вышел указ Хрущева о реабилитации репрессированных народов.

Реабилитировали и чеченцев, только некуда было им ехать. Я знаю из личных рассказов, как возвращались они на родину и ставили палатки во дворе собственного дома, где жили уже чужие люди.

В ту пору еще не существовало этого несуразного словосочетания: «бандформирования». Но слова, выражающие отношение к чеченцам, были примерно такие же: «бандиты», «головорезы», «чернозядые» и тому подобное.

Коммунистическая пропаганда много сил потратила, чтобы создать «образ врага» из людей инородного происхождения, из татар, калмыков, чеченцев... Надо честно признать, образ «злого народа», это про чечен и ингушей, имеет давние корни, идущие из прошлого века, необходима была достоверная легенда, подтверждающая право

стрелять и преследовать этот народ. И было ведь за что: русская армия в 280 тысяч человек не могла 55 лет справиться с 20 тысячами, а после того как в 1859 году Шамиля вывезли в Калугу, уже на следующий год произошло восстание чеченцев и повторилось еще дважды! В гражданскую войну Деникин держал здесь треть своей армии, чтобы обеспечить надежные тылы: он уничтожил десятки аулов...

Авторханов утверждает, что Сталин ненавидел чеченцев еще и за то, что они чуть ли не единственные сорвали ему коллективизацию.

Может, кто-то и верил, что они враги, но не мы — дети улиц, которые знали жизнь не по газетам. У нас в детприемнике в Грозном, где собрали уцелевших крошек (но мы и были как крошки со стола кровавого пиршества, которое затеял вождь всех народов), дети оценивали друг друга не по национальным признакам, а по личным качествам, и лучшими моими друзьями был татарин Муса, немка Лида Гросс (она потом переделала фамилию на Гроссова!) и нагаец Балбек, прозывавшийся, несмотря на очевидную раскосость глаз, на всякий случай русским именем Борис...

Полагаю, что интернационализм свойственен детям от природы, чего не скажешь про взрослых дядь, сильно испорченных политикой. Да что далеко ходить, вот и сейчас в Москве устроили целую истерию, пугая обывателя некими чеченскими террористами, которых никто и в глаза не видел. А один высокопоставленный чиновник договорился до того, что обозвал весь чеченский народ преступной нацией и даже пытался доказать, что они кроме как грабить да воровать ничего, дескать, делать не умеют.

Но вот поразительная какая история: простой народ не поверил этим басням и никакого озлобления к чеченцам не испытал.

Более того, проникся к ним сочувствием, увидев на экранах телевизоров, как обращаются они с нашими пленными и ранеными солдатиками, как лечат их и кормят, в отличие от Грачева, бросившего их на произвол судьбы в подвалах дудаевского дворца.

И само собой вдруг осознается, что война, которую развязали высшие чины, военные и гражданские (о них речь после) происходит не против каких-то мифических формирований или банд, как утверждает та же государственная пропаганда, а против народа, даже против двух народов: против чеченцев и против русских. Один коммерсант недавно так и сказал: «В Грозном убивают наших людей: русских и чеченцев».

Но мальчики, которых заставляют пить кровь друг друга, но люди, русские и чеченцы, оказались морально выше тех, кто задумал эту бойню.

В недавние времена, когда снимался фильм, я проехал по многим чеченским деревням и убедился, что вайнахи, как именуют они себя — народ, живущий трудно, бедно, попробуй начинать сначала, если и в самом деле люди везли из ссылки только кости своих предков!

Но это очень гордый и свободолюбивый народ — мы трижды, со времен покорения Кавказа, пытались его поработить и даже уничтожить, и это выработало в нем такие качества, как мужество и стойкость, но не убило природной горской щедрости и широты. Я убеждался в этом много раз. И, конечно, этот народ трудолюбив, на каменистой почве они, почти не используя техники, выращивают хлеб и виноград, да и такая земля у них на вес золота. Оттого-то многие пошли по миру на заработки (а кое-кто и в преступный мир). И в далекой Сибири, на Ангаре и на холодном севере — всюду я встречал первоклассные чеченские бригады, умеющие здорово строить.

Ну, а уж воевать они всегда умели.

И первый подарок, который они мне поднесли, в знак уважения, был, конечно, кинжал, без которого здесь мужчина не мужчина. И не воин. Впрочем, боюсь, что ныне это традиционное оружие заменили автоматы Калашникова.

В той самой станице Асиновской, которая описана у меня в повести, недавно произошел случай: наш боевой самолет спикировал на дорогу и расстрелял в упор хлебный фургон, водитель-чеченец был ранен в левую руку.

«Хорошо что в левую, — сказал посетивший его корреспондент. — Все-таки для работы правая нужней», — на что водитель отвечал, что ему нужна правая рука уже не для того, чтобы возить хлеб, а для того, чтобы стрелять.

А вот на днях, выступая по телевидению, один генерал сказал с недоумением о нынешних событиях, что это, дескать, никакая и не война, что же это за война, когда в наших солдат из окон стреляют... И невдомек старому вояке, что это и правда не война, к которой он привык, а война против народа, и стрелять будут: из окон, с гор, из каждого дома. Так воевали наши партизаны против немцев в минувшую войну, защищая свои хаты, и мы, помнится, называли ее «священной»!

В прошлом веке писали: «В Чечне только то место наше, где стоит наш отряд, двинулся отряд — и это место немедленно переходит в руки повстанцев».

Кстати, у нынешних военных существует термин «зачистка территории», это когда население изгоняется со своей земли.

Вот сейчас «зачистили» город Грозный, повесили флаг над «Рейхстагом», его демонстрируют по всем каналам телевидения, а ведь это флаг поражения, флаг нашей беды. У меня сердце екнуло, когда узнал я, что боевые славные наши летчики полностью разнесли детский дом, где проживали сироты-инвалиды. Правда, они были в подвале, погибли их игрушки, их посуда, их одежда... Да и крыша над головой! А что есть еще у сирот, кроме казенной крыши, да и то не всегда?

Но это уже было однажды, было!

Это было со мной, с моими друзьями.

Что же, мы так ничему и не научились за пятьдесят лет? Один из летчиков заявил в интервью: нормальному человеку трудно понять мое состояние; когда льется большая кровь, сатанеешь... Самое трудное — начать убивать, а дальше все происходит как в кошмарном сне, и ты уже не можешь остановиться...

Уже поступают с Кавказа (как прежде из Афганистана) цинковые гробы, и опять разрываются сердца матерей... Кстати, этих гробов заказаны тысячи, секретный заказ министерства обороны разбросан по десяткам российских фабрик, то-то наша промышленность воспрянет!

Гибнут мальчики, практически, дети, а что будет с теми, кто вернется «осатанев», с искореженными душами, с извращенным понятием о добре и зле? Среди множества уголовных дел, которые приходят в Комиссию по вопросам помилования, где я работаю, очень большой процент — дела бывших «афганцев». Их приучили к крови, а теперь судят за то же самое, за что их прежде награждали! Гайдар определил наше время так: сегодня мы живем при другой власти. Я бы добавил: и при другом Президенте. Он сделал ставку на Партию Силы (военные, милиция, органы безопасности и т.д.), не осознав до конца, что это гибельный путь — и лично для него и для России в целом. Именно силовые структуры, подталкивая Президента к пропасти, приведут страну к диктатуре, сам же Президент, несущий полную ответственность за гибель гражданского населения в Чечне, думаю, уже вряд ли поднимется. Народ за него не проголосует.

Был у него шанс, кажется, последний, когда встречался он с борцом за права человека Сергеем Ковалевым и — не услышал его.

Впервые, кажется, с тех пор, как не стало коммунистов, разошлись пути Президента и интеллигенции. Ее голос тоже утонул в грохоте пушек. Мы переживаем странное состояние, когда кругом ложь и дезинформация, от которой мы как бы немного отвыкли. Лгут депутаты, лгут помощники президента, и рядом с генеральским окриком на печать, на телевидение это выглядит как бы прелюдией

к другим событиям, которые вот-вот последуют...

Бездарный и агрессивный генералитет, жаждущий войны (лучшие, такие, как Громыко и другие, покинули его), съест наш и без того жалкий бюджет, бедствующее население и пенсионеры обнищают еще более. Россия лишится поддержки Запада, который и сейчас-то не очень торопится инвестировать средства в нашу промышленность... Но что гораздо хуже, тот же Запад, его лидеры (в том числе и американцы и господин Коль) топчутся, простите за сравнение, как нерешительные гости в прихожей, не в силах выразить прямо господам из Кремля, что те никакие не демократы, а в лучшем случае — партюкраты, их методы наводить железный порядок среди «младших братьев» при помощи самолетов и танков, практически ничем не отличаются от сталинского. История, поздно или рано, вынесет им свой приговор.

Однажды от своих друзей-болгар я впервые услышал поговорку: «если, возвращаясь домой, ты увидишь у себя во дворе танк, не пугайся — это старший брат приехал к тебе в гости».

«Старшим братом» болгары, как и другие республики, называли тогда русских.

«Старший брат» немало поутюжил гусеницами Европу, наезжая в чужие «дворы»: и чешские, и венгерские, и берлинские...

Не так давно и жители Европы и бывшей Западной Германии, ложась спать, на всякий случай прислушивались к чужеродным звукам за окном. Не едут ли «гости»?

Нет, нет. Пока не едут. Ибо граница Закавказья нынче проходит через Москву. И сегодня мы, мы прислушиваемся ко всяким звукам, за окошком... как прислушивались наши родители в тридцать седьмом, хотя тогда не танки ездили, а «воронки». Ну, а завтра?

Наши мудрые прадеды еще и прошлым веке писали, что погибельность Кавказа приняла иную форму, быть может, роковую, а может быть и полезную в итоге, раскрыв внутренние язвы нашей жизни, немощи нашего духа, ошибки и грехи нашей окраинной политики...

О «полезности» судить не берусь, я лишь о «погибельности», которая угрожает всем нам, причем России в большей степени даже, чем чеченцам, ибо такая «окраинная политика» вызовет и уже сегодня вызывает волнение других народов, входящих в федерацию, не говоря уж о том, что мы практически навсегда потеряли доверие чеченцев, ингушей, а вслед за ними и Кавказа в целом.

Кавказ мы потеряли, это ясно, не потерять бы теперь Россию!

Несколько лет назад, обсуждая вариант названия при переводе моей повести на английский язык, я впервые услышал цитату из

Шекспира, воспроизвожу по памяти: «Кавказ на твердой ладони земли как раскаленный уголек»...

Он и есть раскаленный уголек, который мы дали раздуть в пожар, опасный для всех нас. Однажды я имел несчастье попасть в этот пламень и знаю, как это страшно.

Одна старая русская женщина, сидя под бомбежкой в Грозном, сочиняла письмо Ельцину. Она понимала, что письмо не дойдет, и сказала: это занятие иначе, чем безумным не назовешь... Но я написала, умоляла его, чтобы он перестал нас убивать!

Да вот, кстати, забыл упомянуть, что и я один экзemplярик моей повести: «Ночевала тучка золотая» вручил с дарственной надписью во время личной встречи нашему уважаемому Президенту Борису Николаевичу Ельцину.

Прочитал ли?

* * *

В ожидании обратного рейса на Моздок мы слонялись по грозненскому аэродрому. Вертолет был готов к отправке, и солдатики в камуфляжной форме с автоматами Калашникова, заброшенными за плечо, балагурили в сторонке, нетерпеливо поглядывая на склоняющееся к горизонту солнце. Все знали, что после заката полета уже не будет. В темное время суток здесь наступает власть дудаевцев. И в Грозном. И за его пределами. Но ожидался груз, на сегодня последний. А он запаздывал.

Первый весенний ветерок реял над разбитыми и сваленными на дальнем краю поля обломками самолетов, сбитых во время недавних боев. Там же стоял, поблескивая серебром, целехонький лайнер ТУ-134, принадлежащий лично Дудаеву. Как видно, не пригодился. Чернели проемы огромных окон аэровокзала. Стекла повышибало два дня назад, после минометного обстрела со стороны ближайшей горки. Тут же, как рассказывают очевидцы, включился в дело наш ракетный комплекс «Ураган», стоявший неподалеку (по отзыву очевидца: «Такая восхитительная штука: все выжигает!»), он и стер вместе с горкой отчаянных чеченских стрелцов.

Но и сейчас с южной стороны доносились редкие хлопки, именно туда, в сторону Шали и Гудермеса, уходили на задание боевые вертолеты, начиненные бомбами и ракетами, восемнадцать боевых машин МИ-24, «работающих» в три смены. Как они «поработали», мы узнаем лишь из запоздалых сводок, перечисляющих жертвы среди боевиков, а точней, среди мирного населения.

Впрочем, у военных логика своя: «А кто их проверял, чьи они там на самом деле? Бывает, днем они получают от нас гуманитарную помощь, а ночью выходят со снайперской винтовкой... Вон, вчера прямо на аэродроме, да среди бела дня помощнику коменданта шею прострелили! Идет война».

Но война начинается не здесь, не в Грозном. И даже не в Моздоке, где расположена главная база командования, а в Москве, в Чкаловском аэропорту, где загружаются тяжелой техникой огромные транспортные самолеты, да ожидают своей очереди ребята, одетые в новенький камуфляж. Они еще не хлебнули лиха и достаточно бодры, среди них несколько девчонок. При посадке их просят сдать оружие.

Грачев тараторит о скором выводе войск, а солдатики между тем едут и едут в Чечню. перевалочный пункт у них Моздок. И здесь поражает количество камуфляжа: люди, чехлы для автоматов, бронежилеты, сумки, вплоть до палаток и сеток, прикрывающих с воздуха танки и другую технику. Повсюду главенствует желто-зеленый цвет, иногда чуть красней, или бурей, как, например, у морских пехотинцев. От него рябит в глазах.

В общем-то, это цвет весны, даже лета, почему-то сейчас здесь не вызывает привычного чувства радости, обновления, наоборот, от его обилия становится тревожно, как в момент смертельной опасности.

В энциклопедии пишут так: «Камуфляж — это способ маскировки, заключающийся в окраске орудий, судов, зданий и т.п., искажающий их очертания и затрудняющий их обнаружение».

Не только цвет, здесь и язык камуфляжный. Так, чеченцы — это «чехи» (правда, по старой афганской привычке говорят и «духи»); вертолеты — «вертушки», танки — «бетееры», минометы — «трубы»... Если, конечно, не считать главного языка войны: голоса орудий и автоматов. Последние, несмотря на глубокий тыл, ибо Моздок как бы и не Чечня, а Осетия, слышны по ночам даже тут.

И не случайно рядом с поездом, выполняющим роль гостиницы, на соседних путях поставлен товарняк, прикрывающий наши окна со стороны города.

Впрочем, иногда солдатики так развлекаются: запускают сигнальную мину, а в ней свистящая головка и пятнадцать ракет! Или, как в момент моего прибытия бросил уезжающий солдатик на радостях слезоточивую гранату прямо на аэродроме, и все от «черемухи» плакали. Ну и уж совсем невинным развлечением может показаться пойманная крыса, которую облили бензином и подожгли, хохот стоял, когда смотрели, как металась она огненным шаром по площадке, пока не сгорела...

И все же бросается в глаза психологический настрой людей на войну. Несмотря на царящий всюду бардак, люди включены в какую-то незримую работу, не суетятся, не нервничают, даже когда выгружают тела погибших или перетаскивают раненых.

Один из здешних офицеров мне сказал: «Здесь закон — мы». Надо понимать так: «Закон войны».

Мы слыхивали о «законе джунглей». В Сибири говорят по иному: «закон тайги». Иногда иронично добавляют: «Закон — тайга, медведь — хозяин».

Здесь полновластный хозяин — военные. У них и правда свои порядки, как и свои твердые представления об этом мире. Вот хотя бы о том, кто в нем для них враги, а кто друзья.

Их враги — практически вся пресса, которая, по их убеждению, конечно, на службе у Дудаева. Российское телевидение они прямо называют «голосом Дудаева». А уж «НТВ» — звучит криминально, почти как агент ЦРУ. Среди врагов числится Сергей Адамович Ковалев, борец за права человека, его имя вызывает у штабистов зубную боль! Как и имя Юшенкова, и некоторых других депутатов.

Да что депутаты, далекая отсюда столица, которая вроде бы держит в руках руль этой страшной, запущенной на всю мощь военной машины, тоже вызывает настороженное подозрение в излишней либеральности, в непонятной тяге к Западу, что приравнивается тут к измене родине.

Пора, после Чечни, и в ней, родимой, особенно в Кремле, навести железный порядок! А его есть чем наводить. Земля на базе в Моздоке буквально вспахана танками, пушками, ракетными установками. Каждый квадратный метр дороги, все площадки и подъезды заполнены военной техникой. На их фоне многочисленные и подвижные бэтээры выглядят, как легковые такси в Москве. Стоит, наверное, подумать, не перенять ли нам моздокскую моду, при том, что грязь на улицах столицы непролазная и не убирается, а у военной техники — очень большая проходимость. Заодно и от преступников защитит. Тем более, что на такси денег у государства все равно нет. Как, впрочем, и на науку, на культуру, на медицину. Зато на бэтээры, судя по их количеству, деньги есть, а не хватит, попросим, под видом экономической помощи, у того же Запада... Они такие легковые, пришлют пару доверчивых представителей, которые военный камуфляж примут за розарий, а ракетную установку «Град» за метеорологическую службу, а слезоточивую «Черемуху» за обновление природы... Глядишь, что-нибудь в долларах и отвалит. Должен же кто-то за эту грязную войну платить!

Вот сказал про улицы Москвы и вспомнил случай, когда прямо

перед моими «жигулями» на красный свет прогремел огромный грузовик. Я нажал на тормоза и выругался, но мой приятель, сидевший рядом, резонно заметил, что я не прав, а прав этот грузовик. Почему? «Да потому, что у него железа больше!»

В сравнении с Чечней (и не только с ней) у нас железа много больше. А значит мы всегда правы, даже когда топчем танками чужие жилища. Это, собственно, и есть «закон войны», который мне здесь так наглядно преподали. И хотя с большим количеством железа нашим генералам, при их полной профнепригодности, воевать легче, но такое количество «железа» вряд ли необходимо для одной Чечни.

Вышеупомянутый офицер довольно откровенно объяснил мне, что Чечня — это лишь начало. За ней последуют другие регионы, которые стоят на очереди (он почему-то произнес: «в очереди»), и среди них прежде всего Ингушетия, («Аушев давно спелся с Дудаевым, а у него на аэродроме заделки чеченский вертолет!»), потом Кабардино-Балкария, Дагестан... Другие.

Да весь, практически, Северный Кавказ.

Это лишь пресса долдонит о поражении, на деле же поражение потерпели необученные мальчики, а сама российская армия на крови тех мальчиков вызрела и выверела, как говорят, набрала соков и возродилась из небытия, куда ее хотели бы загнать американские империалисты, правда, для полного камуфляжа перед Западом она, по словам наших правителей, почти и не воюет. Она уходит, уже ушла.

На деле же, картина обратная: сюда, словно зверье на запах крови, слетаются бывшие военные, афганцы и отставники, и те, кого успели выдворить из Прибалтики или из Восточной Германии...

Теперь они сплошь в камуфляже, под которым не разглядеть погон, но по особой стати, по манере разговаривать со всякими там наблюдателями и заезжими гостями из «Красного креста» и иных подозрительных организаций, можно определить: они уже на своем месте. Это писателям да ученым нет места в своем отечестве, а профессиональные военные, отточившие зубы в Праге и в Берлине, и в Будапеште, на усмирении братских народов у нас никогда без работы не останутся.

Вот и среди новых, назначенных из Москвы, федеральных органов в Чечне (уж на что, кажется, мирная организация) — почему-то одни военные, а в заместителях у руководителя Территориального Управления оказывается бывший отставник — генерал из Забайкальского военного округа. Правда, закамуфлированный под простого администратора. Да и мой нечаянный спутник, депутат из Москвы, генерал авиации, в прошлом, видать, хороший летчик, зачастил сюда

неспроста. Здесь, среди своих коллег, ему привычнее, чем прозябать в Думе, особенно когда ему удастся уговорить своих бывших дружков-летчиков взять его с собой на боевое задание.

На днях слетал, вернулся одухотворенным, глаза блестят, даже помолодел. Спрашиваю: «Ну, как, полет удался?» — «Удался» — отвечает. «В кого-нибудь стреляли?» — «Да нет, — отвечает, — не стрелял». «А что же вы там делали?» — Он палец к губам: это, мол, военная тайна.

Да, вот еще о «военной тайне», которая, как глухая ночь, окутывала всю нашу прошлую жизнь. Она является составной, а может быть, главной частью здешней военной жизни. Я не смог, как не бился, увидеть, хотя бы со стороны, где находятся и как выглядят сидящие в вагонах «перемещенные лица». Не пустили меня и в Ассиновскую, где прошло мое детство, и в Назрань...

Засекречено все, даже быт солдат, страдающих от скверного питания. Им не разрешается вступать в беседы с корреспондентами, и не дай Бог попасть в объектив камеры или быть прописанным в какой-то в газете, кроме той, которую выберет для них само командование. Обычно это «Красная звезда».

Я сам был свидетелем того, как отобрали кассеты у неаккредитованного корреспондента, рискнувшего снять что-то на «видик». Тут же было приказано: пленки, не глядя, размагнитить.

Ну а там, где безгласность, скрытность, там ложь, там беспредел. О том, что творят наши войска в Чечне, узнается случайно, из жалоб населения, реже из дел, заведенных прокуратурой.

У военного прокурора в Грозном расследуются дела на капитана Поливцева, который самовольно расстрелял трех невинных чеченцев, на рядового Задорожного: удирая в пьяном виде от патруля, он наехал на базарчик, где несчастные старухи, выползшие из подвалов, приобретали продукты, двух он задавил насмерть, нескольких поранил и искалечил, после чего пытался скрыться. Но таких дел немного. Большинство же остаются невыявленными. Не говоря уже о случаях мародерства. В упомянутой мной «Красной Звезде» один офицер пишет, что никакого мародерства в Чечне нет, а если солдат в разбитом доме захватит банку варенья, то это вовсе не мародерство, а как бы подарок.

Документы свидетельствуют о другом. В заявлении Осмаевой из Грозного на имя прокурора Басханова написано так: «25 января российские солдаты ворвались с обыском в мой дом, где находился мой сын, 21 года, и его товарищ, раздели, положили на пол, потребовали золото, доллары, рубли и оружие. При малейшем движении били прикладами по ногам и по голове. Бэтээр (номер

соседи записали) загрузили вещами, а один из солдат сказал: „Давай их завалим“. Спасли соседи, они встали на колени и умоляли не убивать детей. Ночью мы бежали, а они на следующий день вернулись, вынесли оставшиеся вещи, а дом подожгли. Соседи бросились тушить, но солдаты предупредили, что тех, кто приблизится к дому, взорвут гранатой. Я видела в жизни немало страшного. В 37-м году потеряла отца, его убили во время коллективизации без суда и следствия. В 44-ом году девяти лет я была выслана как враг народа в Казахстан и осталась жива. Я воспитала девять детей, дала им образование, поставила на ноги. Но то, что я увидела, как российская армия устанавливает конституционный порядок, кажется мне кошмарным сном. Я в свои 61 год оказалась бомжем, без дома, без документов, спасибо, хоть не убили моего сына».

Есть у меня и другие свидетельства. Так заместитель главного администратора Грозного Шептукаев, посетивший родное селение Гикало, описывает, как «изрядно подвыпившие солдаты зашли во двор дома и пытались изнасиловать девушку. На крик выбежали родственники и соседи, солдаты их убили». Это случилось 11 февраля. Кроме девушки, погибли Мунаев Мовлы, 60 лет, Мельников Григорий, 65 лет, Экаев Дауд, ветеран войны, кавалер двух орденов славы и отец девушки (фамилия неизвестна). Письмо заканчивается так: «Такие случаи произвола ведут к тому, что люди, которые были против режима Дудаева, вынуждены становиться в ряды боевиков...»

Писатель Лев Копелев, проживающий ныне в Кельне, в одном из своих романов описал бесчинства советских солдат, которые он наблюдал в 44 году, когда они входили в Германию. И там происходили массовое мародерство, насилие и убийства. Советская печать, разумеется, не могла опубликовать такие факты. Да и сейчас военные власти пытаются их скрыть, выдавая за дудаевскую пропаганду. Но и те, кто знает, что это правда, растерянно вопрошают: ну, откуда это, ведь мальчики, вчерашние школьники, и вдруг такая жестокость?!

Ответ прост: каково общество, такова и армия. И если в стране происходит беспредел, а большая часть населения убеждена в необходимости массовых казней, молодые люди, получив в руки оружие и не имея твердых нравственных установок, быстро привыкают к насилию. В условиях бесконтрольности это будет опасно для страны, когда они разъедутся по России.

В Грозном, на Комсомольской улице, во дворике сидели солдаты в плюшевых красных креслах, вынесенных из разбитых квартир, и варили на костре перловку в консервных банках. Автоматы на коленях, в карманах лимонки, пачки патронов. Один стал мне

показывать, как действует гранатомет, зарядил и в шутку прицелился... «А если выстрелит?» Он засмеялся. Как ребенок. И смех у него еще детский. О питании он сказал: «Обед как обед, только сладкого хочется». И вдруг показал на часы: «Вот, у чечена снял». Я не понял, спросил: «У убитого?» — «Зачем, у живого. Но я потом его убил». И опять странно засмеялся, так что я подумал: шутка. Но его приятель подтвердил «Это правда. Он его застрелил.» — «За что?» — «Да так вышло», — сказал. Только вы никому не рассказывайте, ладно? Мы с земляками пили, а он вбежал в комнату с гранатой: сейчас вас всех взорву! Ну, если бы трезвый, я бы, конечно, драпанул, а тут подошел, руку ему зажал, ту, которая с гранатой, чтобы чеку не выдернул, и вырвал. А потом я его расстрелял. Как? Да просто: вывел во двор и из автомата... Он еще закурить попросил, я дал ему «Приму». Мы «Приму» курим. Мужик худющий такой, заросший, лет так сорока. Он и не просил ни о чем, только закурить. Так вот, я дал ему «Приму», а потом из автомата... Три патрона в грудь... И он странно повторил: «Вы правда, никому не говорите. Ладно?» Я сказал: «Ладно». И потому я не называю его имя. Хотя я его знаю: ровно через десять минут я получил от него письмо на родину. От него и от его друзей, четыре потертых конверта, на которых был изображен русский драматический театр имени М.Ю.Лермонтова в Грозном. Он только и остался теперь, что на конвертах... Письма эти я опустил уже и Москве.

Когда Грачев говорит о «сохраненной инфраструктуре города» (на пресс-конференции в Алма-Ате), пусть он заглянет в глаза жильцов Грозного, ну, хотя бы в доме номер 41 по улице Комсомольской: они живут в подвальном помещении, двадцать стариков и старух спят на стеллажах для вещей, их квартиры разбиты и разграблены... Чтобы спуститься в их новое жилье, надо в глубокой тьме преодолеть сорок одну ступеньку, как в преисподнюю. Они ни разу не получали гуманитарную помощь, для этого надо на заре, а значит под пулями снайперов, прошагать несколько километров до консервного завода, затем выстоять пять-шесть и более часов у крошечного окошечка, который штурмует толпа голодающих, и неизвестно, что при этом достанется: банка тушенки или «детская смесь»...

Или — ничего.

И снова, в сумерках, под дулами снайперов, проделать обратный путь... Это им не по силам. Питаются, чем Бог послал, да солдатики подбрасывают. Я сам видел, как к старой женщине, Анне Ивановне Карасевой, которая одна не выехала из разбитой квартиры на первом этаже, пришли ребята и принесли пленку, чтобы закрыть окна. Анна Ивановна вдруг произнесла: «Солдатики нас поддерживают, а вы бы их поддержали... Им не легче, чем нам!»

Эта простая женщина лучше многих других разобралась в том, что происходит в Чечне. «Это мафиозная война, — сказала она. — Здесь одна мафия воюет с другой, и все хотят нефти». Ну, а чего хотят простые люди — известно, они хотят мирно жить. Где-то на воротах разрушенного дома в Грозном так и написали: **ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ**. Открытый призыв к ненасилию. Хорошо бы нашим правителям помнить, что и здесь, и везде по России **ЖИВУТ ЛЮДИ**.

В клубе «Мир» в центре Моздока сидит, окруженный толпой, майор Березин с солдатскими списками. Сюда едут со всей России Матери. Я пишу с большой буквы, ибо это святые женщины, я видел их измученные глаза. Они просят только одного: сказать, жив ли их сын. Где-то у себя на родине, на Урале, одной из них сказали: «Вам не положено знать, где находится ваш сын». «Вырастить положено, а знать не положено?» —спросила она. И поехала в Чечню.

У майора Березина Владимира Федоровича двое своих: дочка учится в школе, а сын заканчивает и скоро пойдет в армию. Майор приходит домой и не может заснуть... Нервы. В день сюда приезжают до ста пятидесяти женщин. И у каждой такие глаза... Где останавливаются? Да у населения, их пускают, даже кормят... Бесплатно... Ведь матери же!

Я гляжу на громадные тетради: «Это все списки погибших?» Он отвечает: «Да. И еще Макаров...»

«Почему Макаров?» Он вздыхает: «Да вот только передали: погиб Макаров... Я не успел его в списки внести...»

Все стены в клубе увешены листочками, их тут тысячи, и каждый кричит о беде. Это наша «Стена плача». Читать это невыносимо. Но я читаю. «Помогите найти Садеева!» «Прошу сообщить о судьбе Васильева!» «Передайте сыну Антонову, пусть подаст хоть весточку...» «Омичи, ваши родители в вагоне на вокзале». «Умоляю, сообщите о Смирнове». «Сыночки, милые, откликнитесь, саратовские». И вдруг крупными буквами: «РЕБЯТКИ, СОХРАНИ ВАС БОГ!»

А вертолета в тот день мы все-таки дождались. Привезли на санитарной машине (ее здесь называют «таблетка» — красный крест в белом кружочке) запоздалый груз, он так и обозначен: «груз-200», то есть убитые... Раненые идут как «груз-300». А был еще один раз «груз-800», раненная в живот беременная женщина. В Моздоке прямо с аэродрома попала она госпиталь, родился мальчик. Кем-то он станет, дитя этой ужасной войны, и не зашлют ли его нынешние генералы (они-то вечные!) в какую-нибудь новую Чечню?!

Вертолет шел на самой низкой высоте, чуть не задевая за провода, почти крадучась; над лесными массивами, над рекой, он

продельвал крутые виражи вправо или влево: маневры на случай тепловых ракет. Темнели на горизонте горы, Терский хребет, кругом расстилалась земля, она могла бы показаться прекрасной, если бы на ней происходила какая-то жизнь. Но не было видно ни машин, ни тракторов, ни людей у брошенных сельских построек. Такой пустынной я впервые увидел ее в детстве, не догадываясь тогда, какая трагедия посетила эту землю. До я не мог и представить, что я увижу ее такой снова, в момент прощания.

Прямо у наших ног лежали два тела, завернутые в блестящий целлофан, в такой в Москве заворачивают цветы. Тоже по сути камуфляж, как и название: «груз-200». Слово-то французское, но очень хорошо вписавшееся в наше, русское сознание, ибо его используют все, от политиков до дипломатов, маскируя за благородными словами преступные дела и представляя на Западе Россию «в искаженных очертаниях», намеренно затрудняющих возможность что-то о ней понять...

Красные блики уходящего солнца празднично сверкали на блестящем целлофане, на торчащей паре сапог, чуть подрагивающих во время противоракетных виражей. Пассажиры, молодые солдатики в камуфляже, старались не смотреть вниз под ноги, а глядели в круглые иллюминаторы, возможно, у них впереди маячила встреча с домом и родными.

И только двое, они еще были живы утром, когда мы летели в Грозный, уже ни о чем не могли мечтать. Их души, как два золотых облачка, всходили над белыми вершинами Кавказа... Как в повести моей, помните: «...Тучки мы... Влажный след мы... Были и нет...»

А где-то в Моздоке на стене висит белый листок бумаги, исчерканный корявым почерком:

«СЫНОЧЕК, Я ТЕБЯ ЖДУ И НЕ УЕДУ,
ПОКА ТЕБЯ НЕ УВИЖУ.
МАМА».

Москва-Моздок-Грозный-Москва, 1995.

Радиовещание на русском языке

В центральной Европе можно принимать следующие радиостанции на русском языке:

«Голос России» (Москва): 5550, 9450, 9610, 9630, 11765, 11840, 11860, 11890, 11930, 12040, 12045, 15430, 15465, 15475, 15550 КГц;

«Радио 1» (Москва): 171, 234, 6195, 12175, 15255 КГц;

Радио «Надежда»: 1215, 7370, 9490, 9890 КГц;

Радио «Маяк»: 9470, 9610 КГц;

«Радио России»: 261, 5980, 9525, 9720, 12045, 15330 КГц;

«Радио Свобода»: 5290, 5990, 6105, 6115, 6135, 7220, 7245, 9520, 9565, 9625, 9660, 9705, 9750, 11970, 15130, 15215, 15290, 15370 КГц;

«Голос Америки»: 6140, 9535, 11710, 15215 КГц;

«Немецкая волна»: 5980, 9800 КГц;

ВВС: 9635, 11760, 11845, 13745, 15225, 15260, 15575, 17780 КГц

К сожалению, прием многих радиостанций зачастую нестабилен, поэтому мы сознательно не указываем точное время вещания.

**В Берлине на частоте 106,8 МГц
работает радиостанция SFB-4.
С понедельника по пятницу с 16.00 до 16.20
слушайте программу на русском языке.**

Buchhandlung RADUGA



Книги на русском языке

**Friedrichstraße 176-179 • 10117 Berlin
Fon/Fax (030) 20 30 23 21**

**Montag bis Freitag von 12.00 bis 18.00 Uhr
U-Bhf. Französische Straße oder U-Bhf. Stadtmitte**



**Принимается подписка
на альманах «Остров»**

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Единственная русская еженедельная газета в Западной Европе.

ПОДПИСКА НА «РУССКУЮ МЫСЛЬ»

(В указанные цены входят
почтовые расходы)

Обычной почтой:

	6 мес.	1 год
Франция.	280 F	450 F
Другие страны:	450 F (90 \$)	700 F (140 \$)

Авиапочтой:

Европа и Северная Африка.	500 F (100 \$)	800 F (160 \$)
Израиль. Иран	580 F (116 \$)	850 F (170 \$)
Америка, Южная Африка	620 F (124 \$)	950 F (190 \$)
Австралия, Япония:	720 F (144 \$)	1000 F (200 \$)

Желаю оформить подписку

на 1 год

на 6 месяцев

имя и фамилия

адрес

..... Страна.....

Оплату производжу:

- приложенным чеком
- почтовым переводом
- через банк

Наш почтовый счет: ССР 5883 44 К PARIS

Платеж и заполненный талон просим направлять на адрес редакции в отдел подписки. При продлении подписки подписной талон не заполнять. Написать фамилию и приложить один экземпляр фактуры или номер абонемента.

Адрес редакции:

La Pensée Russe, 217, rue de Faubourg St. Honoré, 75008 Paris.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Газета издается в Париже с 19 апреля 1947 года.

Если вы хотите
подписать на «Русскую мысль»
своих друзей и родственников
в России и других странах СНГ
предлагаем вам льготные условия подписки:
300 фр. фр. (60 амер. долл.) в год.
Обращайтесь в отдел подписки «Русской мысли».
Прилагаем специальный подписной талон.

Желаю оформить подписку для

Имя и фамилия

Адрес

..... Страна СНГ

Оплачиваю

Имя и фамилия

Мой адрес

.....

..... Страна

Оплату произвожу:

- приложенным чеком
- почтовым переводом
- через банк

Наш почтовый счет: ССР 5883 44 К PARIS

Платеж и заполненный талон просим направлять на адрес
редакции в отдел подписки.

Адрес редакции:

La Pensée Russe, 217, rue de Faubourg St. Honoré, 75008 Paris.

ДОРОГИЕ ЛЮБИТЕЛИ РУССКОЙ КНИГИ!!!

В Потсдаме, на Аллеештрассе 10, для Вас открыт магазин

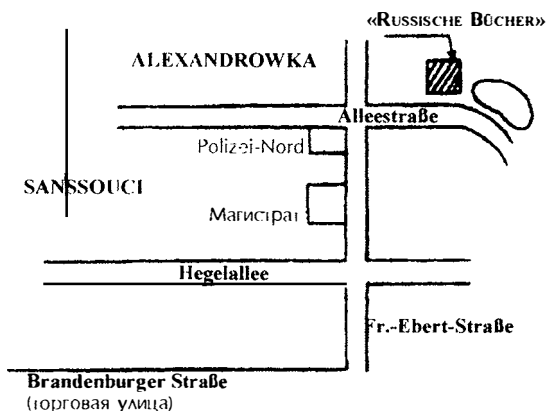
„Русские книги“

**Более пяти тысяч наименований книг.
Новинки поступают практически еженедельно.
Работает букинистический отдел и отдел заказов.
Всегда свежие газеты.**

**Продаются видеокассеты —
практически со всеми русскими фильмами,
а также аудиокассеты русской классической и эстрадной музыки.**

Звоните нам: 0172 / 315 31 58

Найти нас легко:



Наш почтовый адрес:

**Russische Bücher
Alleestraße 10, 14469 Potsdam**

Литературно-приключенческий журнал

По вопросам подписки, оптовой закупки
и размещения рекламы обращайтесь к
нашему представителю в Германии

Alexandre Pikoyski

An den Quellen 12

65183 Wiesbaden

Tel./Fax: 0611/301883

Сов.секретно

..... 1995 года

НКВД ДЕЛО №...

В киосках крупнейших городов США, Канады,
Германии Вы можете приобрести новый
литературно-приключенческий журнал

★ НКВД -

Новая Картоотека Версий и Досье

★ НКВД - это остросюжетный сборник сенсационных
разоблачений, экскурсов в прошлое и настоящее крупнейших
спецслужб мира, это интрига политики и бизнеса, тайны
преступлений века, теневые стороны жизни знаменитых личностей

★ НКВД - это эксклюзивные публикации, созданные
лучшими журналистами нескольких стран

★ НКВД - это неделя увлекательного чтения в кругу Вашей семьи

★ НКВД -

это Ваш журнал, Ваши темы и Ваши герои!

Alles für Computer und Menschen

KOSTENGÜNSTIG — LEISTUNGSSTARK — WERTBESTÄNDIG

**ACM
COMPUTER**

**КОМПЬЮТЕРНОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БЮРО**

ПРЕДЛАГАЕМ:

- принтеры с русским шрифтом;**
- программное обеспечение на русском языке;**
- факсы, компьютерные сети, модемы;**
- копировальную технику;**
- многое другое...**

**Оказываем помощь при подключении и настройке.
При оптовых закупках предоставляем скидку.**

**ACM Computer Handels GmbH
Augsburgerstraße 27,
10789 Berlin
Verkauf: Fr. Bul / Hr. Galius**

**fon: (030) 211 27 40
fax: (030) 211 90 11**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ИЗ СНГ В ИЗРАИЛЕ**

Главный редактор — Александр ВОРОНЕЛЬ
Редактор — Марк ГАЛЕСНИК

Стоимость годовой подписки
в Израиле — 100 шек.,
для организации — 110 шек.,
за рубежом — 80 долл.
(авианочтой в Европу — 90, в США — 95 долл.),
для организации — 100 долларов.



**МИШНАХУС
И
АВЖУДИМ
—
МОСКВА**

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №

Прилагаю чек (чеки) № на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала (фамилия)

Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я 44050

Главный редактор:
Вячеслав Сысоев

Редакторы-составители:
Евгений Попов, Лариса Сысоева

Оформление и макет © Дмитрий Сорокин

В оформлении использована графика
Вячеслава Сысоева

Адрес редакции:

«OSTROV»,
Dimitroffstraße 4,
10435 Berlin,
Germany

Telefon: + 49 030 / 442 58 30

СТРОВ

**Независимый публицистический
и литературно-художественный альманах**

Выходит с июня 1994 года

Редакция не вступает в переписку по поводу присланных материалов.

Рукописи не возвращаются.

Точки зрения редакции и авторов публикуемых материалов совпадают не всегда.

В предыдущем выпуске альманаха «Остров» замечена опечатка.
В повести «Пятый олень» вместо *горные* следует читать *горние*.

ДАМЫ
И ГОСПОДА !



В КРАТЧАЙШИЙ СРОК
ВОССТАНОВИМ
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЧЕЧНИ !!!

